

Поль И. Л.

Оглянись со скорбью

История одной семьи

*Русский терем
Москва
2004*

Моей многострадальной матери

и всем женщинам

- безвинным жертвам сталинских репрессий

с любовью и уважением.

ГЛАВА 1

***Заменяющая пролог и одновременно утверждающая,
что счастливое детство у меня все-таки было,
но закончилось самым неожиданным образом
и значительно раньше, чем следовало бы...***

Лето этого недоброй памяти года выдалось сухим, жарким, изнурительным, и родители единодушно решили отправить меня в пионерский лагерь. Это стало для меня полной неожиданностью, так как, не в пример своим сверстникам, я еще ни разу не был в пионерском лагере и до сих пор разговор на эту тему никогда даже не возникал.

Как-то вечером, придя с работы и скептически оценив мой замызганный вид после очередных футбольных баталий, отец сказал, обращаясь к матери:

- Знаешь, Капочка, хватит ему с утра до вечера гонять этот дурацкий мяч и глотать уличную пыль. Отправим-ка мы его в пионерский лагерь, пусть ребенок подышит чистым воздухом. - И для большей убедительности добавил. - Пора ему, в конце концов, привыкать к самостоятельности и хоть немного пожить без родительской опеки, а то он совсем превратится в маменькина сынка.

К моему удивлению, даже несмотря на «маменькина сынка», мама согласилась сразу же, и хотя не была столь категорична, но и у неё нашлись довольно веские аргументы в пользу предложения отца.

- Пожалуй, ты прав. Лёся. Как-то на днях Таня мне сказала, что едет со своим Игорем в лагерь, куда-то возле Куки, и предложила захватить с собой и нашего. Если Горик будет с ней, я буду спокойна.

Таня Дорошенко была лучшая мамина подруга, а с ее сыном Игорем я был знаком буквально со дня рождения. Они подружились в родильном доме, ожидая нашего появления на свет Божий, и так уж получилось, что появились мы почти одновременно и обоих назвали Игорями. А дома меня звали Гориком: в те далекие

годы это было распространенным домашним именем, производным от Игоря, и просто удивительно, почему это ласковое имя почти совершенно исчезло ныне.

Наши семьи дружили, ходили друг к другу в гости, и частенько бывало, то Таня забросит своего Игоря на весь день к нам, то меня отправят к ним. У Игоря, помню, был детский педальный автомобиль - вещь по тем временам редкостная, на зависть всем мальчишкам - и я с удовольствием и довольно часто проводил у них время. Но мне и дома было хорошо и, честно говоря, я был совсем не в восторге от перспективы провести лето в лагере. Лагерь пугал меня своей неизвестностью, как-то там еще будет, а здесь все привычно, друзья-товарищи, уйма удовольствий, среди которых меня более всего устраивало именно с утра до вечера в пыли Угданской улицы «гонять этот дурацкий мяч». Даже earn это была всего лишь набитая сеном старая покрывка от мяча.

Улица наша была тихая, спокойная, одна из тех окраинных читинских улиц, за которыми через несколько километров уже начинались сопки. Мягкий песок, характерный для всей Читы, и почти никакого движения, разве что иной раз проедет извозчик да повозка китайца, развозящего по домам воду в больших бочках. А автомобили тогда и вовсе были в диковинку, и редкое их появление на улице было для нас, мальчишек десяти-двенадцати лет, большим событием.

Одно такое событие на всю жизнь оставило на мне памятную метку. Однажды, когда к нам на Угданскую завернул грузовик и мы бежали за ним сломя голову и вопя от восторга, я споткнулся, упал и попал коленом как раз на косяк двери, кем-то выброшенной на проезжую часть. Я до крови рассек ногу, и кто-то из ребят, увидев, что я корчусь в слезах посреди дороги да еще и нога в крови, помчался к нам домой и насмерть перепугал маму, которая из его рассказа вздохнула только одно, что меня переехала машина, и я со сломанной ногой и весь в крови лежу бездыханным посреди улицы.

Мама прибежала, схватила меня в охапку и бегом в больницу, где мне промыли рану и наложили на нее металлические скобки. Тем дело и кончилось, если не считать небольшого, еле-еле заметного шрама на правом колене, который я и ныне иногда трогаю рукой и невольно вспоминаю свое детство.

Но это был исключительный случай, а так ничто не мешало нам с утра до вечера играть на нашей улице, по крайней мере, на том ее небольшом участке, что лежал между Бутинской и Журавлевской, в футбол, лапту, бабки, чирика и во все, во что играли дети в России тридцатых годов.

Моим самым лучшим другом был Ерга Попандопуло, грек по национальности. До последних лет я не мог и представить, каким ветром занесло эту большую греческую семью в Россию, да еще в далекое Забайкалье. Детей было четверо, кроме Ерги еще два старших брата Кока и Коча и самая старшая сестра Евтихия. Но я дружил только с Ергой. Евтихия была уже взрослой девушкой, а Кока и Коча в наших мальчишеских играх обычно держались противной, а иногда и враждебной стороны, особенно когда мы играли в войну, нередко кончавшуюся обычной потасовкой. И вот тут-то я брал верх, даже Игорь тускнел со своим педальным автомобилем. А дело было в том, что у моего отца был оставшийся еще с его детства старинный спортивный револьвер системы «монте-кристо» и несколько пачек патронов с круглыми свинцовыми пулями. Кто-то когда-то обрезал его ствол, и

он превратился в изящный маленький револьверчик, помещавшийся в настоящую кобуру.

Отец иногда разрешал мне играть с ним, ну а пару-другую патронов я тихонько брал сам без спроса. А однажды, делая под выходящим во двор крыльцом загородку для свиньи, отец откопал зарытые в землю настоящую саблю с ножнами и огромную бутылку, полную, как оказалось потом, чистейшего спирта. Наверное, все это было закопано во времена семеновщины, по крайней мере так мы тогда объяснили себе нашу находку. Судьба спирта мне неизвестна, но сабля удачно дополнила «монте-кристо», и стоит ли говорить о том, что в наших играх в войну я при таком оружии всегда был всеми признанным командиром и непременно красным.

А ловля со старого деревянного моста через Читинку пескаррей в бутылку с выдолбленным донышком! За всю свою жизнь я нигде больше не видел, чтобы так ловили рыбу. Лучше всего годились литровые бутылки и четверти - трехлитровые. Правда, тогда и бутылки были не такие, как сейчас - с коническим дном внутрь. Самое трудное - выбить донышко конуса. Затем горлышко затыкалось пробкой, бутылку прикреплялась к бечевке, а внутрь насыпали кусочки хлеба или крутую кашу, и вся эта снасть с моста опускалась в воду таким образом, чтобы горлышко бутылки было наклонно вниз, а открытое донышко - вверх.

С моста видно, как пескари по одному забираются в бутылку, тыкаются мордами в стекло, а выбраться обратно не могут. Три-пять минут - и таяни улов!

Ну а если ко всему этому добавить еще и велосипед, настоящий взрослый велосипед, сияющий никелем и разноцветием красок, купленный отцом в этом же памятном году, на котором я мог гонять по всем улицам Читы «под раму», так как с седла еще не доставал, то свои огорчения насчет лагеря я совершенно явственно ощущаю даже сейчас, вспоминая свое далекое детство. Пожалуй, у меня действительно было это пресловутое счастливое детство! Семья наша была дружная, отец с матерью жили в любви и согласии, я не помню их в натянутых отношениях.

Жили мы в достатке, я был единственным сыном, которого изрядно баловали, и нам было очень хорошо втроем вместе, так что этот лагерь был просто ни к чему. Но судя по всему, это было неотвратимо. Тетя Таня в то время не работала, но была общественницей и по линии женсовета управления Забайкальской железной дороги, где служили наши отцы, должна была отработать один сезон в ведомственном пионерском лагере воспитателем. Разумеется, она собиралась туда со своим Игорем и еще с двумя младшими сыновьями, потому и предложила захватить меня за компанию. А тут еще, как на зло, родители задумали сделать кое-какой ремонт по дому, и возможность сплавить меня на месяц представлялась уже не только полезной для меня (с их точки зрения, конечно), но и удобной для них самих.

В общем, не прошло и недели, как отец оформил путевку, и вот мы уже все на вокзале в ожидании отхода пригородного поезда, который должен доставить отъезжающих до станции Кука.

Обычные для таких случаев напутствия, прощальные поцелуи, просьбы и обещания чаще писать, слушаться тетю Таню. Наконец, мы уже в вагоне, дружно машем руками вместе с провожающими на перроне. Мама чуточку грустная, ведь впервые расстается со мной на столь длительное время, а отец весело смеется, и я до сих пор вижу, как запечатленный в памяти кадр, его ослепительно белые зубы и черные усы над смеющимся ртом. Он громко кричит сквозь шум отходящего поезда, что через неделю непременно приедет попроведать меня. И никто из нас в те минуты даже подумать не мог, что я в последний раз вижу своего отца, что на этом кончается мое счастливое детство, а судьба уже изготовилась раскидать всех нас в разные стороны и даже дальше.

Шел июнь 1937 года...

ГЛАВА 2

Представляет главных действующих лиц этого повествования такими, какими они были на самом деле...

Из всех своих родных по нисходящей я помню лишь свою бабушку по материнской линии. С ней связаны и годы совместной жизни, и годы вынужденной разлуки, так нежданно-негаданно свалившейся на нашу семью. Трудно и даже страшно представить, как сложилась бы вся моя дальнейшая жизнь, если бы не решительное вмешательство бабушки, но об этом речь впереди, а сейчас, представляя свою семью, я хочу начать именно с этого светлого для меня образа.

Моя бабушка Агния Михайловна, в девичестве Попова, рано лишилась родителей, жила и воспитывалась вместе с двумя старшими сестрами в семье брата в Иркутске. Сразу же по окончании гимназии и не без помощи брата, который таким же образом ранее отделился от двух других воспитанниц, она вышла замуж за учителя, намного старше ее по возрасту. Вскоре молодожены переехали в город Усолье, недалеко от Иркутска, где бабушкин муж Николай Павлович Куликов получил место учителя словесности в местной гимназии. Там она родила свою первую дочь Валентину, чем чрезвычайно огорчила супруга, желающего непременно иметь сына-наследника. Он сразу же невзлюбил свою дочь, демонстративно не обращал на нее никакого внимания и заметно охладел к своей юной жене. И когда та вновь созрела, чтобы подарить мужу на этот раз уж непременно заказанного мальчика, она все же на всякий случай и от греха подальше поехала рожать к свекру в село Мальта, недалеко от Усолья, где и родила благополучно вторую девочку, названную Капитолиной.

Так в 1900 году вопреки желаниям родителей появилась на свет божий моя будущая мать. Эта новоявленная ровесница века внесла в молодую семью еще больший раздор — отец не захотел даже приехать и увидеть свою вторую дочь, а с женой и вовсе перестал общаться. Но эта пытка продолжалась недолго, ибо через месяц после рождения Капочки, как все ее звали тогда и всю последующую жизнь, отец, так и не увидев своей дочери, скорострительно скончался от сердечной

недостаточности. И молодая вдова в возрасте 19 лет с двумя младенцами на руках и без каких-либо средств к существованию осталась жить у свекра — сельского священника.

Отец Павел, человек добрый и всецело бывший под каблуком у своей жены, имел большой дом о пяти комнат, и по тем временам жил в достатке. При доме держал работника, имел лошадь, а в трех километрах от села была у него заимка, где живущая там работница управлялась с двумя коровами, домашней птицей и огородами, обеспечивая отца Павла всем необходимым, да еще и для рынка оставалось предостаточно.

Агния Михайловна прожила у свекра довольно безбедно года три, а затем вместе со старшей Валечкой уехала в Иркутск, где нашла место учительницы в начальной школе, а Капочку оставила с дедом.

Прошло еще года четыре, когда неожиданно и серьезно заболела баба Дарья, жена отца Павла. Он отвез ее в Иркутск, поместил в больницу, где она вскоре и умерла. В печали и горе, взяв с собой Капочку и работника,, отец Павел вновь отправился в Иркутск, где похоронил свою жену, оплакиваемую вместе с ним невесткой и внучками.

Капочка осталась у матери, а отец Павел вернулся .домой. Здесь его ждал еще один удар: кто-то в его отсутствие проник во двор, взломал двери амбаров, отравив двух сторожевых псов, и изрядно опустошил содержимое амбаров. В дом ворами проникнуть не удалось, хотя и была попытка, судя по поврежденным замкам и брошенному тут же лому. Неожиданную смерть жены и последующее за ней ограбление отец Павел воспринял как перст божий, как наказание за «грехи наши», и тут же принял решение уйти в монастырь, чтобы в усердных молитвах просить милости у всевышнего.

Он срочно вызвал к себе Агнию Михайловну и объявил ей о своем решении. Продав дом,, ликвидировав хозяйство и уладив все свои мирские дела, отец Павел пешком отправился в Иркутск, где в местном монастыре принял монашеский постриг. Но и тут его достал «перст божий!

У отца Павла были деньги, кое-какие драгоценные вещи — золотые часы, столовое серебро, меха. Кое-что по мелочам он подарил Агнии Михайловне и внучкам, собиравшись отдать им и все остальное добро, которое хранил у себя в келье. Но судьба распорядилась иначе. Ему прислуживал келейник, молодой послушник, живший в монастыре, но еще не имевший монашеского сана, И однажды, придя в свою келью, отец Павел увидел, что все его сундуки и шкафы взломаны и добро исчезло; вместе с ним исчез и келейник.

Отец Павел был так потрясен случившимся, что занемог и вскоре скончался от разрыва сердца.

Оставшись после смерти свекра с двумя малыши девочками без какой-либо материальной помощи со стороны, Агния Михайловна жила весьма скромно. Занимали они небольшую меблированную комнату в доме, который сдавался учителям, не имеющим возможности жить лучше. Она любила своих дочерей, хотя и относилась к ним строго, воспитывая в них скромность, честность; умение

довольствоваться малым. Я смело могу утверждать, что именно такой моя мать и была всю свою жизнь, и даже те страшные невзгоды, что свалились на нее впоследствии, не сделали ее хуже.

В те годы Агния Михайловна, скованная по рукам и ногам детьми и скромным положением учительницы, сама была еще очень молода, ей хотелось пожить в свое удовольствие, хотелось любви и, может быть, даже вновь устроить свою столь неудачно сложившуюся личную жизнь. Судя по всему, она не была святой. Частенько вечером, уложив дочерей спать, Агния Михайловна одевалась и причесывалась более тщательно, чем обычно и, перекрестив спящих девочек (которые, конечно, не спали), отправлялась веселиться в компании знакомых молодых людей. Глубокой ночью, а иногда и под утро, она приезжала на извозчике, тихонько входила в комнату, нежно, чтобы не разбудить, целовала спящих девочек, а те млели от восторга и любви к своей красивой, нарядной, пахнущей французскими духами маме, и от того, что уже можно ее не ждать и спать по-настоящему. А в воскресенье Агния Михайловна, как правило, устраивала семейный праздник — брала извозчика, и они все втроем торжественно ехали в кондитерскую, которую содержал китаец, где заказывался шоколад в чашечках и много-много маленьких и очень вкусных пирожных. Девочки уплетали их за обе щеки, а их мама с любовью и какой-то гордостью смотрела на них, дескать, вот и мы можем позволить себе кое-что и не хуже других.

Уходя из кондитерской, Агния Михайловна непременно покупала большой пакет орехов в сахаре, любимое лакомство девочек, и его хватало как раз на неделю. И снова ехали домой на извозчике, хотя не так уж было далеко пройтись и пешком. Как постоянным посетителям кондитерской, в конце каждого месяца хозяин-китаец насыпал полный кулек этих засахаренных орешков и бесплатно, в виде премии за постоянство, торжественно вручал его, улыбаясь и низко кланяясь.

В 1913 году Агния Михайловна переехала в Читу, где жили две ее старшие сестры. Она стала учительствовать в ведомственной железнодорожной школе, стала получать больше, чем в Иркутске, и уже появилась возможность снять отдельную двухкомнатную квартиру. Жить стало легче, девочки учились в гимназии и понемножку выросли.

Революция пришла в Читу как-то незаметно и буднично, по крайней мере для Агнии Михайловны и ее дочерей. То ли Чита была слишком далека от центра революционных бурь и ветер перемен дошел до нее уже ослабленной волной без видимых порывов, то ли они просто не были готовы к осознанному восприятию этого исторического события, но ни Агния Михайловна, ни ее дочери не заметили революции как переворота.

Последний класс гимназии Капочка начала при царе, а закончила уже при Советской власти, утвердившейся в Чите в феврале 1918 года.

Власть сменилась спокойно, просто одни люди сменили других; поменялись лозунги и портреты на стенах гимназии, участились митинги и собрания, изменилось и стало более демократичным отношение преподавателей к гимназисткам. Вспоминая эти дни, мама рассказывала, как уже перед самым окончанием гимназии их повели на городской митинг. Шли они строем по шесть

человек в ряд, и вместе с гимназистками, взяв их под руки, шагали преподаватели. И все вместе пели «Варшавянку». Вот этого раньше не было.

Окончив гимназию, в 1918 году Капочка вышла замуж.

Со своим будущим мужем, а моим отцом Польш Леонидом Эмильевичем, она познакомилась четырьмя годами раньше. Леся, как его все звали, был одним из многочисленных поклонников старшей сестры Валечки, которая была удивительно хороша, и вокруг нее всегда толпились молодые люди. Однажды всей компанией пошли в «Иллюзион», где показывали хронику войны 1914 года, и Капочка очутилась рядом с Лесей, да так с ним больше и не расставалась. Отец Леей, обрусевший немец Эмиль Карлович Польш, работал машинистом на паровозе, а мать, родом из русской купеческой семьи, умерла незадолго до женитьбы сына. Жили они втроем мужским коллективом — отец, Леся и его младший брат Герман. Правда, вскоре после смерти жены отец взял в дом прислугу, молодую солдатскую вдовушку по имени Мария, которая днем умело вела его холостяцкое хозяйство, а ночью не менее умело утешала его в холостяцком одиночестве.

Я уже упомянул, что мой дед по отцу происходил из немцев. Не знаю, кто, когда и в каком поколении сменил Германию на Россию; известно только, что этот неведомый чужестранец женился на русской и все последующие потомки мужского рода фамилии Польш продолжали жениться непременно на русских, так что мой отец уже не имел никаких нитей, связывающих его с немецким происхождением, и значился во всех записях актов гражданского состояния русским. К сожалению, через несколько десятков лет этого оказалось недостаточно.

Леся был старше Капочки на два года, когда они познакомились, был студентом экономического техникума, а ко времени окончания ею гимназии уже работал в том же паровозном депо, где работал его отец.

Капочка часто бывала у них в доме, нравилась и покойной матери Леей и его отцу.

— Почему бы вам не пожениться? — сказал как-то отец, обращаясь к ним обоим. — Капочка кончает гимназию, ты уже при деле, да и хозяйки в доме нет. Хватит уж, поженихались, пора закругляться.

На том и порешили—летом 1918 года они «закруглились» и Капочка переехала в дом свекра.

При всей любви и согласии между молодыми, новая жизнь Капочки началась со сплошных неприятностей. Прежде всего, молодую невестку невзлюбила прислуга, до сих пор считавшая себя полновластной хозяйкой и не желавшая сдавать завоеванных позиций кому бы то ни было. Пользуясь положением сожительницы свекра, что в общем-то и не скрывалось, она начала демонстративно игнорировать присутствие Капочки, противилась каждому ее желанию, делала все по-своему и непременно наперекор. Когда дело дошло до явных оскорблений, Капочка не выдержала и обо всем рассказала мужу. Тот решил сам поговорить с Марией.

— Слушай, Мария,—сказал Леся, обращаясь к ней, когда отца не было дома, — что ты не можешь поделить с Капочкой?

— Вот еще, мне нечего с ней делить, — вызывающе ответила та. — Не ею здесь все устроено и пусть не сует свой нос, куда не следует.

— Ей здесь все следует и все положено, она моя жена.

— Подумаешь, твоя жена! А я сплю с твоим отцом, и еще неизвестно, чей козырь старше. И не ты здесь хозяин, а он.

— Ну, знаешь, — еле сдерживая себя, тихо проговорил Леся, — если ты не извинишься перед Капочкой и не прекратишь свои выходки, можешь убираться из дома.

— Это еще посмотрим. Не ты меня нанимал, не тебе мною и распоряжаться.

И не желая больше разговаривать, Мария ушла в свою комнату, громко хлопнув дверями. Вечером она не вышла к ужину, сославшись нездоровой, и Леся рассказал отцу все.

Капочка сидела ни жива, ни мертва — как-то поведет себя свекор? Тот ничего не сказал, молча поднялся и ушел в спальню. Позднее, как всегда, туда прошла и Мария. О чем и как они поговорили — неизвестно, но только рано утром Мария вышла из спальни отца с заплаканными глазами, прошла в свою комнату, быстро собралась и ушла. Больше ее здесь не видели, а Капочке вдруг ее стало очень жалко.

После ухода прислуги Капочка старалась изо всех сил угодить свекру — навела порядок в доме, кое-что переставила по-своему, и это было благосклонно принято; преуспела и по кулинарной части, благо что Агния Михайловна научила ее вкусно готовить. Жизнь начала входить в нормальное русло, так нет — новая беда. Как-то к концу лета большой компанией устроили пикник за городом, и Капочка там сильно простудилась с последующим осложнением на ногу. За пару дней нога так распухла, что лечащий врач заявил о необходимости срочной операции, а то и совсем придется ампутировать ногу.

Все страшно испугались, пригласили для совета Капочкину тетку, тетю Пашу, работавшую врачом-гинекологом и довольно авторитетную в местных медицинских кругах. Та категорически отвергла мысль об операции и энергично взялась лечить ногу сама. И в это время, как назло, Лесю отправили на несколько дней в командировку в Маньчжурию.

Нога заживала, но медленно, и Капочка сильно переживала уже не столько из-за ноги, сколько из-за того дурацкого положения, в которое она попала, — напросилась в хозяйки, из-за нее прогнали прислугу, а сама день-деньской лежит, требует о себе заботы, дома не убрано, готовить некому, свекор обеды приносит в судках из деповской столовки, Герка совсем от рук отбился.

От всего этого Капочка потихоньку плакала, но так, чтобы свекор не видел. Проходит неделя-другая, Капочка лежит-страдает, а Леси все нет и нет. Хороша невестка, ничего не скажешь — пользы никакой, одна морока.

Пришла Агния Михайловна, посмотрела-послушала, поохала-поахала и решила забрать Капочку к себе. На следующий день уложили ее на телегу с сеном и увезли в отчий дом, как думала Капочка, с концом. Но через несколько дней приехал Леся, узнал о случившемся и сразу же примчался к нашей страдалице. Оказывается, белые захватили несколько станций на железной дороге и выехать из Маньчжурии, пока Красная Армия не отогнала белых, было невозможно.

Нога, слава богу, благополучно зажила, переживания забылись, Леся стал ездить помощником машиниста и вскоре получил отдельную трехкомнатную квартиру, куда молодые и переехали. Отец остался вдвоем с Герой. Капочка часто навещала там, помогала чем могла — то прибраться, то постирать, то обед приготовить. Но видя, как неуютно им вдвоем без женских рук, предложила Лесе забрать отца и Геру к себе — все-таки три комнаты, как-нибудь разместимся. Отец согласился, и они снова зажили вместе.

Жизнь только-только начинала налаживаться, но все больше и больше вторгалась в нее гражданская война, и Чита оказалась в центре событий, которые уже непосредственно коснулись и нашей семьи.

Одновременно с установлением в Забайкалье Советской власти атаман Семенов на Маньчжурской границе собрал при поддержке японцев белогвардейские банды и двинул их на Забайкалье.

Борьбу против банд Семенова возглавил легендарный Сергей Лазо; партизанские отряды и части Красной Армии нанесли ряд ударов по семеновским бандам, заставив их бежать в Маньчжурию. Однако Семенов, поддержанный в Маньчжурии белогвардейцами и японцами, используя в качестве ударной силы части чехословацкого корпуса, поднявшего вооруженный мятеж против Советской власти, вновь двинулся на Читу. После жестоких боев в августе 1918 года части Красной Армии оставили Читу, отступив в сторону Приамурья.

В городе начался террор, аресты, пытки и расстрелы. Пополняя свои полки, поредевшие в боях, атаман Семенов объявил мобилизацию. За отказ служить в семеновской армии грозил расстрел. В срочном порядке было организовано юнкерское училище, куда принудительно мобилизовывали молодых людей, имеющих гимназическое или специальное образование. Из паровозного депо в юнкерское училище были взяты двое, и один из них оказался Леся.

Капочка была в ужасе; стало известно, что после двух недель обучения вновь испеченных юнкеров направят на фронт. Но отец Леей с группой рабочих из паровозного депо решили устроить побег. Согласно разработанному плану, побег предполагалось совершить как раз перед посадкой в вагоны. Было известно, что эшелон с юнкерами будет отправляться со станции Чита-1. Ребята из депо должны были подогнать маневровый паровоз с несколькими порожними товарными вагонами на один из свободных путей за эшеленом; в одном из вагонов для беглецов должны были быть приготовлены два комплекта гражданской одежды. В общем, все произошло, как планировалось.

Юнкера строем с духовым оркестром прибыли на станцию, их выстроили вдоль эшелона. Им было разрешено проститься с родными и близкими, и на платформе было полно провожающих. Пришли сюда и отец Леей с Капочкой. Можно представить, как они волновались. Как только прозвучала команда «по вагонам!» и юнкера начали посадку, Леся и его товарищ, пользуясь посадочной сумятицей, нырнули под вагон и, перебежав несколько путей, влезли в ожидающую их теплушку.

Машинист, увидев, что беглецы уже там, сразу же тронулся с места и покатил в сторону сортировочной горки. Когда состав остановил в условленном месте, наши беглецы, уже переодетые в гражданскую одежду, спрыгнули из вагона и, как было условлено, добрались до домика путевого обходчика, где их спрятали до наступления ночи. А как только стемнело, они пешком отправились в западном направлении на станцию Хилок, куда семеновцы не дошли и где была Советская власть.

В Хилок пришли через шесть суток без особых приключений. Тамошнее железнодорожное начальство знало Лесю, а узнав о его «юнкерстве» и чем оно закончилось, не долго думая, назначили его помощником военного коменданта станции.

Дома в это время все были в крайнем напряжении. Капочка и свекор хотя и были на платформе, но за толпой ничего не увидели и даже не знали — состоялся побег или Леся был погружен в эшелон. Только на третий день свекор узнал от деповских, что ребята благополучно двинулись на Хилок. А что теперь с ними? Вокруг Читы стояли сторожевые заставы, всюду рыскали конные разъезды семеновцев. Удастся ли проскочить? К тому же все время держала в страхе мысль, что вот-вот могут нагрянуть в дом семеновцы, учинить допрос и обыск, может быть, даже арестовать, и кто знает, чем все это может закончиться. Но никто не приходил, даже в депо ничего не выясняли, и это было удивительно, но, видно, дела у атамана Семенова были плохи, все делалось второпях, без должной организованности, так что побег двоих юнкеров даже не заметили.

Прошло довольно много времени, прежде чем Леся прислал с оказией весточку, что жив-здоров, работает на станции Хилок, и что было бы здорово, если бы Ка-почке удалось выбраться из Читы и приехать к нему, так как, судя по всему, здесь он застрял надолго, а о возвращении домой пока и думать не приходится.

— А что, Капочка, может, действительно поедешь к нему? — сказал как-то свекор, видя, как та переживает разлуку и ту неизвестность, что ждет их обоих.

Капочка хотя и понимала, как все это трудно и опасно, но с превеликой радостью приняла предложение свекра. А тут и случай помог. В Чите в ту пору было много беженцев из центральных районов России, которых революция и гражданская война загнали в далекое Забайкалье. Тут и местным-то было нечем прокормиться, а уж положение беженцев было совсем тяжелое, особенно тех, что приехали семьями да с малыми ребятами. Даже атаман Семенов вошел в их положение, а может быть, просто решил, что при его многотысячных дармоедах лишние рты здесь вовсе ни к чему, и потому разрешил многим беженцам, после соответствующей проверки документов, выехать из Читы в Россию, организовав специальный эшелон. Свекру удалось за приличное вознаграждение договориться

с двумя братьями-беженцами, временно работавшими у них в депо, чтобы один из них взял Капочку под видом своей жены и довез ее до Хилка. Лесю заранее поставили об этом в известность, и хотя точная дата отправления поезда из Читы не была известна, проследить за продвижением этого спецэшелоны и вовремя снять Капочку ему, как помощнику военного коменданта, не представляло особой трудности, так как, несмотря на то, что Чита была «белой», а Хилок «красным», железная дорога, невзирая на эту окраску, работала по своим неизменным законам.

Капочку провожали всей родней — свекор с Герой и Агния Михайловна с Валечкой. Поезд был товарный. На перроне и в здании вокзала невообразимая толчея, шум; полупьяные семеновцы, которым отъезжающие беженцы щедро и, надо полагать, не без цели преподносят стаканчики «на дорогу», ослепленными глазами глядят на предъявляемые им документы и немудрящий скарб. Уже совсем пьяному и еле держащемуся на ногах молодому семеновцу предъявили свои документы и два наших брата. Один из них, заискивающе улыбаясь, представил проверяющему свою молодую, почему-то дрожащую «жену». В подтверждение супружеских уз, он нежно обнял ее и даже поцеловал, поскольку других подтверждений у него не было. В это время второй брат, достав из вещевого мешка бутылку с первачом, наполнил им маленький граненый стаканчик и, источая максимум дружелюбия к алкашу-семеновцу, попросил его выпить «за здоровье молодых и счастливую дорогу», что тот и сделал с явным удовольствием. После этого братьев и Капочку пропустили на перрон, и они скрылись из глаз провожающих, так как солдатня, оцепившая вокзал и перрон, посторонних к поезду не пускала.

Встреча Капочки с Лесей произошла раньше, чем ожидалась. Буквально накануне отряды Красной Армии и партизаны вышибли семеновцев со станции Яблоновая, расположенной между Читой и Хилком, и Леся, побуждаемый то ли нетерпением, то ли соображениями безопасности, так как вдоль дороги «шалили» отдельные мелкие банды белогвардейцев, прибыл на станцию Яблоновую. От Яблоновой до Хилка они доехали на бронепоезде под надежной охраной орудий и пулеметов.

Больше года, вплоть до освобождения Читы от семеновцев, прожила Капочка с мужем в Хилке, все это время ютась в крохотной служебной комнате привокзального барака. К этому времени борьба против семеновщины и интервентов развернулась по всему Забайкалью, принимая в основном партизанский характер. Подпольные комитеты большевиков поднимали на борьбу с белогвардейцами и интервентами все трудовое население. В течение 1919 года и первой половины 1920 года банды Семенова и войска интервентов понесли ряд серьезных поражений, но остатки белогвардейских войск, поддерживаемые японцами и чехами, продолжали удерживать Читу с прилегающими к ней районами, отрезав тем самым Советское Прибайкалье от Дальнего Востока. Но начавшаяся летом 1920 года эвакуация японцев сильно ослабила читинского атамана, и в результате новых наступлений, предпринятых войсками Амурского фронта совместно с партизанами, в октябре 1920 года Чита была освобождена от белогвардейцев и остатки семеновских банд бежали в Даурию. Но еще понадобилось почти два года, чтобы окончательно освободить Забайкалье и весь Дальний Восток от белогвардейцев и интервентов.

После возвращения в освобожденную Читу Леся был назначен военным комендантом станции Чита-1. Мирная жизнь начиналась тяжело, в голоде и разрухе. Есть было нечего, выручал военный паек Леей. Все пообносилось, из суконной шинели Леей Капочка сшила себе пальто и щеголяла в нем вплоть до лучших времен. А тут еще беда — скоростижно скончался свекор. Я уже упоминал, что он был добрый человек, любил покушать, непомерно много пил пива и был очень полным. Он обожал оперетту и все ходил и тихонько насвистывал или вполголоса напевал любимые арии, которых знал множество. Он так же легко и умер, как легко жил. Однажды в день рождения Капочки собрались у них родные и близкие, и после ужина свекор, Агния Михайловна и еще двое гостей засели за карточный столик, играя в «девятку» — распространенную в то время игру.

— Ну, Гаврик, сейчас твоя бабушка проиграется в пух и прах,— весело сказал свекор, тасуя колоду и обращаясь к маленькому сыну Валечки, который не отходил от бабушки.

— А это еще посмотрим, — весело ответила Агния Михайловна.

Но сдать карты он уже не успел.

— Папа умирает! —закричал Леся, увидев, что у отца вдруг закатились глаза и голова медленно начала опускаться на стол.

Это было так неожиданно, что все оцепенели и какое-то время молча, не принимая никаких мер, в ужасе уставились на бездыханно сидящего за столом отца Леси. С большим трудом, он был очень тяжел, его уложили на диван. Среди гостей был фельдшер — двоюродный брат Капочки, и он удостоверил смерть.

Все были страшно растеряны, никто не знал, что говорить и делать. Тихо, словно боясь разбудить уснувшего человека, гости начали расходиться. Как рассказывала мне мама, вспоминая этот день своего рождения, закончившийся столь неожиданно, и Леся и она просто потеряли способность реально мыслить и совершать необходимые в этом случае поступки. Они тоже ушли вместе с гостями и ночевали в доме тети Маши, сестры Агнии Михайловны, оставив покойного в доме наедине с вечностью и богом.

После смерти отца Леси к ним переехала Агния Михайловна и Капочка решила поступить на работу. Как-то раз в гостях у тети Маши зашел разговор, куда бы Капочке устроиться. Среди гостей присутствовал председатель Монголо-бурятского суда, и тетя Маша попросила его устроить племянницу на работу, сообщив, что единственным деловым достоинством протееже является красивый почерк. Так Капочка стала письмоводителем в суде — переписывала бумаги, куда-то их носила или подшивала в дело, выполняла разные мелкие поручения, а в общем-то почти ничего не делала. И через пару месяцев уволилась. Вскоре Лесю, как специалиста-паровозника и к тому же дипломированного техника, пригласили на работу в управление Забайкальской железной дороги на должность заместителя начальника отдела. Материальное положение заметно улучшилось, и вопрос о работе Капочки уже не возникал. Но возникли вопросы уже в другом плане, чему был обязан я своим появлением на свет божий.

Родился я в июле 1926 года. Жили мы тогда уже втроем, так как Гера еще раньше уехал учиться в другой город, а Агния Михайловна буквально сразу же после моего рождения вторично вышла замуж и снова за учителя по фамилии Старков, переехав на квартиру к мужу. Но вот уж действительно моей бабушке не везло в личной жизни! С новым мужем, который ее очень любил, но был неизлечимо болен, она прожила меньше года. У него была какая-то страшная болезнь — сквозь поры кожи просачивалась кровь, и настолько сильно, что когда он купался в ванне, то вода становилась розоватой. Так что и этот брак ничего не дал моей бедной бабушке, разве что только новую фамилию.

Все то, о чем я рассказывал до этой строчки, взято из воспоминаний моей матери. Но теперь в канву рассказа уже вплетаются и мои личные воспоминания, и по этому поводу я не могу удержаться, чтобы вновь и вновь не восхититься такому изумительному феномену, каким является человеческая память. Время летит, мешая события и лица, но единственно подлинными неискаженными временем воспоминания, которые могут быть у человека, — это его детские воспоминания. Сейчас я могу начисто забыть, с кем встречался, что видел и делал вчера, даже если мне это очень нужно вспомнить, но с фотографической четкостью всплывают в моей памяти кадры более чем пятидесятилетней давности.

Я помню себя с трехлетнего возраста, и первый кадр в цепочке воспоминаний — это наш отъезд из Читы, когда в 1929 году отец получил новое назначение на должность начальника паровозного депо на станции Зилово—большой узловой станции на Забайкальской железной дороге, километров в пятистах от Читы. Я совершенно ясно помню наш одноэтажный деревянный дом с большой застекленной верандой, выходящей в сад, недалеко от площади, в центре которой возвышалась бывшая церковь, переоборудованная под кинотеатр с символическим названием «Безбожник». К дому подъезжают две подводы, родители и возчики грузят на них вещи, увязывают веревками. Наверху второй подводой ножками кверху укрепляется стол, внутри стола и тоже ножками кверху крепится табуретка, а в табуретку усаживают меня с Жучкой на руках. Подводой трогается к вокзалу, родители идут рядом, а мы с Жучкой наверху заливаемся радостным смехом и лаем. Для переезда отцу предоставили товарную теплушку, вагон прицепили к пассажирскому поезду, который и домчал нас до Зилова.

Я хорошо помню дом, в котором мы там жили, — большой одноэтажный дом на две семьи, обшитый снаружи досками и выкрашенный в темно-красный цвет. Такие дома принадлежали железнодорожному ведомству и полностью занимали центр поселка, который, в общем-то, представлял собой большую деревню. Годы жизни в Зилове совпали с голодом, который потряс Россию и не минул Забайкалье, хотя и не столь сильно. Я помню этот голод по таким кадрам памяти—через Зилово довольно часто проходили спецэшелоны с так называемыми раскулаченными с Украины и центральных районов России. Их гнали куда-то дальше на восток, и во время длительных стоянок на узловой станции толпы этих оборванных и голодных крестьян, кожа да кости, с маленькими детьми, еле стоящими на ногах от слабости, ходили по поселку от дома к дому и выпрашивали картофельную шелуху и другие пищевые отходы.

Мама давала им какую-нибудь старенькую одежонку, что-нибудь из еды, и они падали на колени и благодарили ее низкими поклонами. Это было действительно страшно, потому и не забылось. Нас этот голод задел слегка и стороной, но все же

мои родители приобрели корову, которая нас здорово выручала. Мы были с молоком во всех его видах, а кроме того мама носила молоко в общежития железнодорожников и меняла его на хлеб и пшеничную крупу. Отец сам заготавливал сено, сам его привозил домой, арендуя у местных крестьян лошадь и телегу.

Прожили мы в Зилове почти три года и в 1932 году вновь переехали в Читу, так как отца опять перевели в управление Забайкальской железной дороги, но уже на должность начальника отдела паровозной службы. Вновь короткое путешествие в теплушке, но на этот раз уже в обществе Белянки, нашей кормилицы, с которой мама решила не расставаться и в большом городе.

Мы поселились в старом доме из пяти комнат на Угданской улице. К дому примыкал небольшой сад с забайкальскими «фруктами»—черемуха, рябина, дикие яблочки, кусты боярки—сравнительно большой огород. Во дворе дома нашлось место и для Белянки, но из-за трудностей с сеном ее вскоре все-таки пришлось продать. Да и материально мы зажили достаточно хорошо, надобность в подсобном хозяйстве отпала. В середине тридцатых отца снова повысили, назначив начальником части теплотехники паровозной службы дороги.

Впрочем, жизнь в те годы, да еще в условиях провинциального города, нельзя оценивать сегодняшними мерками. Жили мы весьма скромно, но не из-за недостатка средств, а из-за недостатка возможностей того времени. Помню, иногда мы всей семьей ходили в гости к папиному сослуживцу Богданову специально слушать каким-то чудом приобретенный «Телефункен». А когда отец купил велосипед, это было не меньшим событием для нас и для соседей, чем сегодня покупка автомашины.

С прицелом на мое будущее музыкальное образование родители решили приобрести пианино, и это оказалось довольно трудным делом. Наконец после долгих поисков с помощью Шуры Лежанкина, товарища Геры и единственного на всю Читку фортепианного настройщика, нашли подходящее пианино, отдав за него соболью пелерину, когда-то подаренную Капочке покойным отцом Павлом, форменную шинель отца; Леей с бобровым воротником и еще 1000 рублей впридачу. Наша семья была довольно музыкальна, в домашнем смысле этого слова. Еще когда Капочка и Валечка учились в гимназии в Иркутске, Агния Михайловна в течение нескольких лет ухитрялась из своей скромной зарплаты оплачивать частные уроки на фортепиано, а так как своего инструмента не было, то девочки ходили заниматься на квартиру преподавателя: полгода одна, полгода другая — сразу на двоих денег не хватало. А когда переехали в Читку, то девочки уже самостоятельно продолжали музыкальное образование, благо в доме у тети Маши был прекрасный старинный рояль. Так что когда мы купили пианино и у нас собирались гости, то танцевали под мамину музыку, и иногда ей в этом помогал папа. В то время, когда мои будущие родители только познакомились, Леся играл на мандолине в самодеятельном оркестре народных инструментов при читинском клубе железнодорожников. Там иногда устраивались концерты с участием этого оркестра, и Капочка непременно сидела в первом ряду по контрамарке,, гордая своей сопричастностью с исполнителями, по крайней мере с одним из них. От отца к Лесе перешли одиннадцатиструнная концертная гитара и кларнет, невесть откуда появившийся в доме. На гитаре обычно тихонько аккомпанировал себе отец, напевая любимые арии из оперетт, и глядя на него, мало-помалу научился играть на гитаре и Леся. Так же незаметно освоил он и кларнет, и настолько хорошо, что

они с мамой частенько наигрывали для гостей дуэтом — пианино с кларнетом. И уже где-то в середине тридцатых, возвращаясь из одной московской командировки, отец, не знаю зачем, привез еще один инструмент—флексотон; наверное, многие и не знают, что это такое. Отец иногда музицировал на нем, извлекая странные для уха дребезжащие звуки, чем-то напоминающие звучание современных синтезаторов.

До моего поступления в школу мама не работала, всецело отдаваясь моему воспитанию и созданию нормального быта семьи—тогда это было принято. Я рано выучился читать, писать и считать, и в 1934 году пошел в школу, но, не задержавшись в первом классе и месяца, был переведен во второй. Одновременно родители отдали меня в музыкальную школу по классу скрипки. Ранее было решено учить меня игре на фортепиано, но меня вдруг потянуло на скрипку, может быть, потому, что как раз скрипки в доме и не было. Родителям ничего не оставалось, как купить мне скрипку, я успешно сдал вступительные экзамены и был принят. Помню, как удивились и сначала даже не поверили в школе, когда, отвечая на вопрос одной из граф вступительной анкеты «укажите, какие музыкальные инструменты имеются в доме», мама написала—пианино, скрипка, гитара, мандолина, кларнет, флексотон и ...бубен. На последнем настоял я, так как он действительно был, с колокольчиками, принадлежал лично мне и часто использовался в наших мальчишеских играх, когда по ходу игры нужно было организовать оркестр. Помню, как торжественно и с музыкой мы хоронили нашу Жучку, которая трагически погибла, спасаясь от большой собаки и распоров себе живот колючей проволокой, натянутой внизу забора. Но это была, пожалуй, уже не игра, а искреннее выражение скорби и печали по отношению к нашей любимице, и глаза у всех музыкантов были мокрые...

...Вот такими мы были, вот так мы жили, в любви и согласии, в скромном достатке, и всем были довольны, веря, что завтра будем жить еще лучше, что не за горами то светлое будущее советского народа, к которому всех нас вел гений великого Сталина. И, как и все, благодарили провидение за то, что именно он держит в своих сильных и отечески добрых руках наши судьбы.

Шел июнь 1937 года...

ГЛАВА 3

Из которой совершенно неясно — почему, но вполне ясно — каким образом я лишился отца, а мама мужа...

Отца арестовали через два дня после моего отъезда в пионерский лагерь. Произошло это на работе, чинно, спокойно, даже вежливо, без суеты. Тогда многих именно так и брали — вежливый звонок по телефону, убедительная просьба зайти после работы в управление НКВД для беседы, «мы вас долго не задержим», при этом называется номер кабинета, «вас там будут ждать, пропуск уже выписан,

пожалуйста, не опоздайте». И все, и никаких хлопот. Никаких специальных задержаний, неприятных сцен при этом, сопровождений под конвоем — все это было ни к чему. И действительно, ничто не предвещало беды, жизнь текла нормально и спокойно во всех отношениях, и никому в голову не приходило, по крайней мере в Чите того времени, что тебя могут вдруг и без всякого повода арестовать, да еще как «врага народа». Все спокойно, в меру своих сил и даже больше, трудились, чувствуя себя под надежной защитой новой сталинской конституции, принятой немногим более полугода назад, на весь мир провозгласившей себя самой демократической из всех конституций, когда-либо существовавших, ибо в ней, об этом повсюду сообщалось, получил свое выражение высший тип демократии— социалистическая демократия.

Видимо, звонок из НКВД был во второй половине дня, иначе бы отец сказал о нем маме, а может, и не сказал бы – ничего особенного в том, что-нибудь в связи с последней аварией на дороге, мало ли что. Вот так по звонку, по приглашению, ничего не ведая и надеясь не очень опоздать к обеду, люди как бы сами шли арестовываться.

В день ареста мама встретила с отцом во время обеденного перерыва. Она уже более года работала корректором в редакции «Забайкальский рабочий» и забежала в управление дороги, чтобы попросить отца зайти после работы в аптеку и выкупить по рецепту за казенные лекарства. Видимо, звонок из НКВД был во второй половине дня, иначе бы отец сказал о нем маме, а может, и не сказал — ничего особенного в том, что с ним хотят поговорить органы правопорядка, может быть, что-нибудь в связи с авариями на дороге, мало ли что. Мама давно уже была дома, посматривала на часы, пора бы отцу прийти, а его все нет. Сначала она подумала, что он, возможно, задержался в аптеке, не готовы лекарства, но когда уже начало темнеть, она встревожилась не на шутку. Конечно, бывало и раньше, что отец задерживался на работе или заходил куда-нибудь, но он всегда об этом предупреждал. Поздно вечером мама побежала к Богдановым, может быть, Гриша знает, в чем дело. Тот тоже не знал, но сообщил маме, что, как сказал ему Леся, его просили после работы зайти ненадолго в управление НКВД. И когда мама вернулась домой, а отца все еще не было, она поняла, что пришла беда, и эта беда связана с вызовом.

Всю ночь она не сомкнула глаз, а утром прибежала в управление НКВД.

— Извините, пожалуйста,—застенчиво улыбаясь, обратилась она через окошечко к дежурному, — мне передали, что вчера вечером после работы моего мужа Поль Леонида Эмильевича вызывали сюда. Он, случайно, не у вас?

— Сейчас посмотрим,—ответил дежурный и куда то заглянул.—Да, он у нас.

— Не могли бы вы сказать, когда он освободится?—вопрос давался маме с трудом, она все еще не могла осознать реальность случившегося, и даже в душе надеялась, что дежурный просто ошибается, и пока она здесь с ним разговаривает, Леся уже дома или на работе.

— Да вы не волнуйтесь, гражданочка. Разберутся с ним и выйдет, куда денется, — спокойно ответил дежурный с таким видом, будто речь шла о просто затянувшейся беседе—стоит ли об этом волноваться.

Мама поблагодарила и по пути домой узнала, что на работе отца нет, не было его и дома. Мама сразу же пошла к своему дальнему родственнику—юристу, рассказала ему обо всем, спросила—что делать? Тот развел руками, и хотя не хотел еще более ее расстраивать, но вынужден был признать, что дело плохо, коль здесь замешано НКВД.

На следующее утро мама снова отправилась в управление, увидела там нескольких встревоженных женщин и среди них двух своих знакомых — Настеньку Калинину, жену начальника политотдела дороги, и Соню Кудрич, жену начальника паровозоремонтного завода. От них она узнала, что в один день с Лесей и на следующий день были произведены и другие аресты, причем в основном лиц начальствующего состава—брали и с работы, и ночью на дому.

Никто ничего не знал, работники НКВД, к которым они обращались, отделялись ничего не значащими ответами. Все были в полнейшем недоумении и растерянности, многие из жен, обивавшие пороги управления НКВД, считали все это каким-то недоразумением, которое вот-вот должно разрешиться, и даже пытались шутить на этот счет. Но постепенно шуток становилось все меньше, а слез все больше. По городу поползли слухи о массовых арестах, и не только в среде железнодорожников. В течение этих трех дней были арестованы еще двое наших знакомых, сослуживцы отца—Могилев и Гигарсон.

На четвертый день после ареста отца к нам в дом вдруг пожаловал сотрудник НКВД, представился следователем и вежливо попросил маму уделить ему несколько минут для беседы. Та, дрожа от страха и стараясь выдать улыбку, пригласила его сесть, думая при этом, что сейчас все разъяснится. Но тот задал несколько общих вопросов, потом обошел всю квартиру, осмотрел вещи, особо заинтересовался кабинетом отца и бумагами, лежащими на письменном столе. Одну из бумаг—черновик отчета о командировке, в которой отец был дней пятнадцать тому назад, — он внимательно прочитал и спросил маму, не знает ли она, что это такое. Бумагу эту он сунул себе в карман.

Весь визит продолжался не более 20 минут, и вообще было непонятно, чем он вызван — ни допроса, ни обыска, так, общее знакомство.

— Ну, а что с моим мужем? — еле сдерживая слезы, спросила мама, видя, что следователь собирается уходить. — Ведь я ничего не знаю! За что он арестован, в чем обвиняется?

— Сейчас еще рано говорить что-либо определенное, да и нельзя, вы сами должны понимать это. Следствие еще не закончено, нужно разобраться в некоторых вопросах. Когда придет время, вы все узнаете... Кстати, вы можете передать мужу смену чистого белья.

На этом разговор и окончился.

На следующий день мама понесла отцу передачу. Народу за эти несколько дней прибавилось, в очереди к окошку для передачи стояли и уже знакомые маме женщины и новые. Мама разговаривала с Настенькой, когда к ним подошли две знакомые «из первых» и по секрету сообщили, что к ним тоже приходили следователи и обоим посоветовали куда-нибудь уехать, не оставляя адреса, и что

они думают воспользоваться этим советом. Они спросили маму и Настеньку, каково их мнение на этот счет, и, разумеется, мнение было отрицательным.

Маме казалась кощунственной сама мысль о том, чтобы уехать, когда Леся находился здесь, рассчитывает на поддержку (вот хотя бы это белье); а ее и след простыл. Хороша жена! Очевидно, те две были более осведомлены, но только мама их больше не встречала ни здесь, в управлении НКВД, ни в последующих своих странствиях.

За какую-то неделю мама страшно осунулась и постарела. Одна из ее знакомых, еще не зная о свалившемся на нее горе, даже не узнала ее, однажды встретив на улице, и когда мама ее окликнула, та просто испугалась происшедшей перемены.

Когда отца арестовали, к нам сразу же переехала бабушка. Она жила отдельно, раньше к нам ходила не очень часто, так как в течение многих лет была в натянутых отношениях с моим отцом из-за одной глупой ссоры. Но сейчас все обиды были забыты, и она в эти тяжелые дни была единственной опорой моей маме. Дело в том, что после ареста отца и последующей волны арестов в городе резко изменился окружающий нас микроклимат. Люди стали бояться друг друга, перестали ходить к друзьям и знакомым, ну а к тем, на кого НКВД наложило лапу, тем более.

Самые близкие подруги мамы, желая ее утешить, крадучись приходили к ней ночью, не дай бог увидят соседи, а некоторые «подруги» вообще старались не появляться рядом с нашим домом, а при случайных встречах делали вид, что не заметили, или переходили на другую сторону улицы. Надо сказать, что такие меры предосторожности были отнюдь не лишни. В эти тревожные дни, когда город был полон слухов о массовых арестах и когда этому невольно стали искать объяснения, то начали выявляться такие факты, передаваемые «по большому секрету» от одного к другому, что сначала этому никто не хотел верить, настолько это расходилось с принципами социалистического демократизма, прочно утвердившегося в сознании людей.

Но верить все-таки приходилось. Из разговоров «по секрету» стали известными, например, такие факты, что в течение последних нескольких лет органы НКВД создали целую систему слежки людей друг за другом — в учреждениях, учебных заведениях, между соседями и даже внутри семьи. Все это обставлялось конспиративно—завербованные в тайные осведомители давали подписку о неразглашении, им присваивались клички, в городе было несколько обычных домов, ничем не отличающихся от других, но принадлежащих НКВД, куда эти осведомители в установленное время— должны были приходиться и сообщать агенту НКВД устно, а затем письменно все то «подозрительное», что было увидено или услышано. А видеть и слышать было просто нечего, и под угрозой и нажимом со стороны агентов, которым «невыполнение плана» по доносам, очевидно, тоже сулило неприятности, многие доносчики поневоле стали придумывать ситуации, пахнущие крамолой, чтобы отвести от себя беду, а иногда они и просто сводили счеты.

Неожиданную, до тех пор скрываемую тайну рассказала маме бабушка. Еще лет пять назад, перед нашим приездом в Читу из Зилова, к ней позвонили на работу

и попросили зайти в одно из районных подразделений НКВД, при этом ей «со значением» рекомендовали никому не говорить об этом звонке. Когда бабушка в недоумении и страхе пришла в кабинет звонившего ей сотрудника НКВД, между ними состоялся такой разговор.

— Агния Михайловна Старкова? — любезно осведомился сотрудник, усадив ее напротив себя.

Комната была освещена одной настольной лампой, стоящей на письменном столе. Абажур лампы был направлен так, что весь свет падал на бабушку, в то время как сидящий напротив хозяин кабинета оставался в полумраке. Свет неприятно слепил глаза, еще более усиливая нервозность.

— Да, слушаю вас, — тихо проговорила бабушка, щурясь и стараясь не смотреть на лампу, поставленную так «неудачно».

— Агния Михайловна, у меня к вам доверительный разговор, и если вы будете со мной совершенно откровенны, нам от этого обоим будет лучше,—сделав паузу и улыбаясь, он добавил:—Разумеется, прежде всего лучше для вас. Вы меня понимаете?

— Да, конечно, мне нечего скрывать, можете рассчитывать на мою полную откровенность. Я понимаю вас,— поспешно заверила бабушка, ровным счетом ничего не понимая.

— Вот и хорошо. Скажите, Агния Михайловна, только откровенно, как мы с вами уже условились, у вас есть... золото? — последнее слово он произнес медленно, после новой небольшой паузы, уставившись на нее неподвижным и испытующим взглядом.

—Золото?—оторопело переспросила бабушка.— Какое золото?

— То золото, уважаемая Агния Михайловна, о котором нам хорошо известно, и если я сейчас спросил вас об этом, так только для того, чтобы проверить, насколько вы действительно решили быть откровенной.

— Золото? — на той же ноте повторила бабушка.— У меня остались от свекра несколько золотых вещей— кольца, броши, серьги. Но разве вас это может интересовать?

— Меня все интересует, Агния Михайловна, и даже вот такой вопрос: почему вы не добавили, перечисляя золотые вещи, что у вас незаконно хранятся золотые монеты царской чеканки?—он многозначительно посмотрел на бабушку, растерянно соображавшую, откуда он все это знает. — Так как насчет продолжения с учетом вашей совершенной откровенности?

— Да, у меня сохранились две золотые монеты достоинством по десять рублей. Просто храню как память о свекре.

— А кто был ваш свекор?

— Священник, он еще до революции умер.

— Некрасивая картина получается, Агния Михайловна, — продолжал сотрудник, напустив на себя строгий вид и решив, что пора брать быка за рога.— Ваш свекор грабил простой народ, копил золото, оставил его вам, а вы вместо того, чтобы передать его советскому государству, уже несколько лет храните его у себя. Вы, очевидно, рассчитываете, что придет время, и эти царские монеты снова окажутся в ходу, а?

— Господь с вами, что вы говорите?—растерянно проговорила бабушка, тут же спохватившись. — Извините за выражение, но я всю жизнь была атеисткой, со свекром практически не жила, революцию встретила с радостью, и ни на что не рассчитываю. Господи, боже мой,— бабушку опять не туда понесло,— да я завтра же сдам эти проклятые монеты, клянусь вам, я просто не придавала всему этому значения, поверьте мне...

— Успокойтесь, Агния Михайловна, я убедился, что вы действительно были со мной откровенны, и что вы достаточно патриотичны. Я вовсе не хочу подозревать вас в негативном отношении к советской власти. Я даже рад этому, так как теперь могу надеяться, что вы не откажетесь помочь нам, если я вас попрошу об этом. Ведь не откажетесь?

— Конечно, я готова вам помочь, если смогу,—поспешила заверить бабушка, еще совершенно не понимая, куда тот клонит, но довольная, что «доверительность» разговора восстанавливается.

— Сможете, уверяю вас, сможете. Видите ли, Агния Михайловна, не все столь сознательны и лояльны по отношению к советской власти, как мы с вами, и есть еще среди нас такие, кто недоволен и властью, и нашими порядками, распространяет всякие вредные слухи, сеет смуту, подстрекает других к недовольству и противлению. Я полагаю, что это долг каждого честного человека — выявлять таких людей и не давать им порочить и подрывать завоевания революции; я уверен, что вы так же думали об этом и до нашей встречи, не правда ли?

— Да, конечно...— вновь поспешила заверить бабушка.

— Вот и прекрасно, и раз наши мысли совпадают, я хочу вот о чем вас попросить, а точнее, я просто хочу облегчить вам выполнение вашего гражданского долга. Присмотритесь к своим сослуживцам, прислушайтесь к их разговорам, проанализируйте увиденное и услышанное с точки зрения их отношения к нашей жизни, к нашим порядкам, и вы увидите, поверьте мне, что не все так безвредны и безобидны, как это кажется на первый взгляд. И если вам что-то покажется подозрительным, расскажите об этом нам, представителям советской власти, вот лично мне, коль скоро мы с вами уже познакомились. А для этого я вас попрошу приходить сюда, ну, скажем, чтобы это не было обременительно, один раз в неделю—пятница и 8 часов вечера вас устроит? А я всегда в это время буду вас ждать. Договорились?

— Но, простите, навряд ли я смогу быть вам полезной, — до бабушки уже дошло, что он нее хотят. — Дело в том, что у меня очень узкий круг знакомых, и они все мои сослуживцы—это прекрасные честные и преданные люди, я не только никогда не слыхала от них ничего подозрительного, но просто уверена, что они и

впредь никогда ничего не скажут такого. Поверьте, это прекрасные люди, и если бы вы их знали, как я, вы бы сказали о них то же самое...

— И все же, Агния Михайловна, позвольте с вами не согласиться. Просто вы добрая и честная душа и хотите думать, что вокруг вас все такие. Конечно, это трудно среди многих хороших людей распознать одного-двух негодяев, но, к сожалению, они всегда встречаются в любом коллективе. Очевидно, вам сначала действительно будет трудно самой разобраться, что к чему, так это и не столь важно — придете ко мне, как мы уже условились, расскажете, что видели и слышали, и мы уже вместе постараемся, как говорится, отделить зерна от плевел.

— Но...—пыталась возразить бабушка.

— Никаких но!—резко отрубил сотрудник.—Кстати, я думаю, что коль скоро мы договорились с вами о сотрудничестве, мне нет никакой необходимости производить у вас обыск на предмет обнаружения и изъятия незаконно хранящегося золота. Вполне возможно, что вы принесете пользу, которая компенсирует допущенное вами нарушение советских законов. Я думаю, Агния Михайловна, — добавил он более спокойно,— что вам нет нужды и сдавать эти злополучные монеты. Забудем о них, и пусть они останутся как никому неизвестная, кроме нас с вами, память о вашем свекре и о нашей сегодняшней встрече.

Заканчивая этот разговор, который до предела обессилил бабушку, сотрудник НКВД протянул ей лист бумаги и ручку.

— Агния Михайловна, вы умная женщина и сами понимаете, что о нашем сегодняшнем разговоре вы не имеете права говорить даже самым близким людям. Считайте, что это государственная тайна и я вас об этом предупредил. Ну, а чтобы все было официально, давайте оформим с вами подписку о том, что вы меня правильно поняли, да и распрощаемся до следующей встречи. И он ей продиктовал текст подписки:

«Я, Агния Михайловна Старкова, сего числа даю настоящую подписку в том, что добровольно изъявляю свою готовность сотрудничать с органами НКВД на изложенных мне условиях и обязуюсь хранить это сотрудничество в абсолютной тайне».

Она машинально написала и подписала эту бумагу, думая только об одном—скорее уйти отсюда, на свежий воздух, голова раскалывалась, да еще этот дурацкий свет в глаза.

—Да, чуть не забыл,—сказал сотрудник, когда бабушка уже поднялась и была готова выйти, — в наших взаимоотношениях вам нет необходимости называть себя настоящей фамилией, давайте придумаем какой-нибудь подходящий псевдоним, о котором будем знать только вы и я.

Очевидно, он стеснялся сказать «кличку», что было бы более точным во взаимоотношениях такого рода.

— Идея, — немного подумав, продолжил он, почти весело,—Вы не возражаете, если между нами вы будете фигурировать под фамилией Золотова? По-

моему, это удачно придумано. Так сказать, в честь причины нашего знакомства. А если мне придется вам звонить, то я тоже буду называть себя Золотовым. Договорились? Давайте я на подписке допишу в скобках «Золотова», чтобы не забыть, И до встречи, до следующей пятницы.

Окончательно бабушка очнулась от этого кошмара только дома, и сразу встал вопрос—что делать? Придя на работу в редакцию, она просто боялась смотреть на своих коллег, старалась держаться от них подальше, не дай бог услышать что-нибудь «такое». Все-таки на четвертый день, поближе к пятнице, бабушка не выдержала и обо всем рассказала своей лучшей подруге, с которой и ранее делилась секретами самого интимного свойства.

Подруга была надежна, умела держать язык за зубами, и бабушка надеялась получить от нее хоть какой-нибудь совет. К ее удивлению, та громко расхохоталась, когда бабушка поведала ей о своей беде. Оказывается, месяцем раньше ее тоже вызывали в НКВД, тоже на чем-то плели паутину, и все произошло почти по тому же сценарию. Но она была женщина более решительная, решила на все это грязное дело наплевать и не казниться, и никуда больше не ходила. Пару раз ей звонил «шеф», пытался воздействовать уговорами и угрозами, но безрезультатно. После этого он перестал звонить и больше к себе не вызывал. Поэтому она посоветовала бабушке плюнуть на это дело по ее примеру, перестать терзаться и никуда не ходить.

Прошла пятница, бабушка никуда не ходила, и где-то через пару дней на работе раздался звонок с просьбой пригласить к телефону Старкову. Говорил «Золотов», говорил рассерженно и с упреком, а у бабушки был один аргумент—«не с чем идти». Разговор закончился тем, что «Золотов» предупредил, что если в следующую пятницу повторится то же самое, то могут иметь место печальные последствия. Бабушка, снова вся в нервах, побежала к подружке, и та, мудрая голова, посоветовала ей срочно взять отпуск и куда-нибудь уехать, что та и сделала. Она приехала к нам в Зилово и прожила с нами дней двадцать, но ничего маме не рассказала, не хотела тревожить. Домой ехать боялась, но никто больше не звонил, никто больше не вызывал. Вот таким-то образом бабушка была завербована сотрудничать с НКВД и вот так «бесславно» это сотрудничество окончилось. Постепенно эти неприятности позабылись, и если бы не новое вторжение НКВД в нашу семью, мы бы, наверное, никогда и не узнали об этом.

Тут и мама вспомнила эпизод, имевший место в Зилове. Однажды там арестовали одного железнодорожника, моим родителям совершенно не знакомого, и обо всей этой истории отец узнал от приехавшего по делу следователя из «центра». Этот следователь во время пребывания в Зилове почему-то поселился у нас на квартире; я думаю потому, что все-таки в масштабах этого поселка отец, как начальник паровозного депо, занимал видное положение и проявил обычное гостеприимство по отношению к «высокому гостю». Приезжий гость и столовался у нас, в какой-то степени подружился с отцом и незадолго до своего отъезда, за рюмочкой, поведал ему такую историю. Этот арестованный бедолага, будучи однажды, извините, в общественном туалете, прочитал написанную кем-то весьма грязную фразу о Сталине в виде короткого похабного стихотворения, в общем-то довольно забавного. И когда он пришел на работу, а в кабинете кроме него было еще двое коллег, он возьми да и расскажи им об этой увиденной фразе, да еще и улыбался, рассказывая, все-таки смешно.

А те двое, услышав этот необычный рассказ, ужасно перепугались, так как давно уже в тайне подозревали друг друга в осведомительстве. И боясь, что сосед может упредить в доносе, каждый из них при первой же возможности и с небольшим интервалом от другого донес об услышанном куда следует, спасая себя от возможного обвинения в умолчании о «крамольных» словах сослуживца. Но этого оказалось достаточным для незамедлительного ареста, грозящего весьма тяжелыми последствиями, и следователь, рассказывая вкратце эту незамысловатую историю и даже сочувствуя пострадавшему, дружески посоветовал отцу поменьше говорить о таких делах, вообще лучше держать язык за зубами, никому нельзя доверять, такое уж время.

Возвращаясь к описываемым событиям того страшного июня после прокатившейся по городу волны первых арестов и самых невероятных слухов, нетрудно понять ту атмосферу страха и неуверенности за свою судьбу, боязни доноса и ареста. Люди затаились, ушли в себя, отмежевались от других, на время забыв о дружбе, участии, поддержке, сопереживании. И мама поняла это с первых дней своего несчастья хотя бы по отношению к себе сотрудников отдела редакции, где она работала. Она решила уволиться, тем более, что приходилось часто отпрашиваться с работы. Главный редактор, к которому она пришла с заявлением, еще не был в курсе дела.

— Что это вы вдруг надумали, Капитолина Николаевна? — спросил он с удивлением. Он ценил маму как корректора, да и время было отпускное, людей не хватало.

— У меня арестован муж...—тихо проговорила мама.

— Ну и что же? Ведь не вы же арестованы, с кем не бывает...

— Он арестован органами НКВД...

— А-а... — сразу посуровев, произнес главный редактор,—это меняет дело. Ну, что ж, давайте заявление.

И он молча написал на нем «уволить по собственному желанию», и маме показалось, что ему было неловко перед ней.

Шли дни, не принося никакой ясности. Как-то, при очередном обмене белья, придя домой и развернув его, мама вдруг заметила небольшое фиолетовое пятнышко на рукаве нижней рубашки возле плечевого шва, и когда вывернула рубашку наизнанку, увидела на внутренней кромке шва слова, мелко написанные химическим карандашом рукою отца. Это были его последние дошедшие до нас слова: «Правде не верят, принуждают говорить ложь, делают шпиона, прощайте, устраивайте свою жизнь».

Схватив рубашку, мама побежала к родственнику-юристу и ушла от него с убеждением, что навряд ли, по крайней мере в скором времени, ей придется увидеться со своим дорогим Лёсей, если вообще придется.

И тогда она решилась на последний шаг - написала Сталину. Ей было очень неловко писать великому человеку, отрывать его от больших дел и забот, но мужа

она любила не меньше, чем Иосифа Виссарионовича, и потому решилась. Стараясь, чтобы письмо получилось как можно короче, но чтобы из него было предельно ясно, что муж не только ни в чем не виноват, но просто не мог быть виноватым. Вся аргументация сводилась к тому, что жизнь мужа и ее самой настолько проста и незамысловата, настолько вся на виду, что ее можно легко проверить год за годом, без особого труда, и тогда всем станет ясно, что он не только не совершил никаких проступков против советской власти, но и не мог их даже замыслить, так как к этому не было никаких побудительных мотивов. И она просила дорогого и любимого Иосифа Виссарионовича дать поручение местным властям разобраться с делом ее мужа и восстановить справедливость. Но тот, кого она просила, очевидно, был действительно очень занят большими делами и заботами. На письмо ответа не последовало.

ГЛАВА 4

В которой события стремительно развиваются в том же направлении, в результате чего маме предоставляется редкая возможность побывать в Алжире...

В конце июня, я вернулся из лагеря, ничего не ведая о разыгравшейся в мое отсутствие трагедии. Таня Дорошенко, конечно, обо всем знала, но решила, наверное, до поры до времени меня не травмировать и на мои недоуменные вопросы, что это мои родители не приезжают, тем более отец обещал на вокзале, отвечала, что все в порядке, затеяли ремонт, в доме все вверх ногами, боятся не успеть к моему приезду, вот и не едут.

Это звучало убедительно, я не привык ко лжи, верил взрослым, и потому довольно безмятежно проводил время, все же иногда удивляясь и огорчаясь, особенно по «родительским дням».

Известие об аресте отца вначале меня ошеломило. Я засыпал маму и бабушку вопросами, но они ничего вразумительного сказать не могли, и, успокаивая меня, плакали сами.

Но время лечит, особенно в детском возрасте, и вскоре это горе стало для меня привычным, я сжился с ним и продолжал догуливать каникулярное лето. Сам я плохо помню этот период, но мама рассказала мне много, лет спустя, что я стал несколько серьезнее, более замкнутым. Очевидно, дали знать и некоторые перемены в отношениях со сверстниками, — я стал их стесняться, как сын арестанта, особенно после того, как один из них в пылу ребячьей ссоры обозвал меня «троцкистом»; да и круг их заметно поубавился.

Если раньше наш дом всегда был полон детворы, и мама этому никогда не препятствовала, то теперь эти посещения стали весьма редки, и, думаю, не без вмешательства со стороны взрослых. Даже Игорь Дорошенко, приехавший из лагеря вместе со мной, ни разу не пришел ко мне. И только один Ерга Попандопуло по-прежнему пропадавал у нас без каких-либо поправок на наше положение.

Я все-таки был уверен, что отца скоро выпустят, и мы снова заживем нормальной жизнью. Мама всячески поддерживала во мне эту уверенность, хотя сама в душе потеряла всякую надежду, особенно после весточки от отца на рубашке. Однако последующие события превзошли самые мрачные предположения.

Как-то в начале октября под вечер раздался звонок. Дома были мама и бабушка, я находился в музыкальной школе. Когда мама открыла входную дверь, за ней стоял уже знакомый по первому визиту следователь НКВД. Войдя в дом, следователь предъявил ордер на обыск, попросил маму и бабушку содействовать ему в этом и, не теряя времени, приступил к делу. За всю свою жизнь я никогда не был свидетелем обыска, но не раз видел эту процедуру в кино или читал об этом в книгах. И там непременно участниками обысков всегда являлись двое понятых, обычно соседи или кто там еще. Но этот обыск производился следователем почему-то единолично. Мама с бабушкой молча следили за ним, а он тоже без лишних слов сначала переписал крупные вещи, а затем стал изымать и переписывать содержимое шкафов, комода. Время от времени он спрашивал маму о той или иной вещи, о ее принадлежности. Дело спорилось.

Когда дошли до столового серебра, мама сказала, что эти вещи принадлежат бабушке и их нельзя вносить в опись. Это действительно было так—перебираясь к нам, бабушка захватила с собой кое-какие ценности. Однако следователь не обратил внимания на слова мамы и уверения бабушки — «не знаю, не знаю, это еще нужно разобраться» — и включил их в опись. Пыталась мама спасти и маленькие позолоченные часики, которые считались моими, и ожидали времени, когда я повзрослею; в те годы не было принято, чтобы дети носили часы. Следователь вроде бы согласился, отложил их в сторону, не внося в опись. Однако перед самым уходом, так и не записав их, он все-таки сложил эти часики вместе с остальными мелкими вещами в свой портфель.

Но маме и бабушке уже было не до этих мелочей, так как сразу же по окончании обыска следователь предъявил маме ордер на арест, о котором до сих пор умалчивал, и предложил ей собраться и следовать за ним. У мамы так и подкосились ноги. Она села и, обливаясь слезами, умоляла следователя хотя бы подождать моего прихода из школы. Он согласился.

— Горик, меня арестовывают! — иступленно вскричала мама, когда я появился дома минут через десять. Она подбежала ко мне, растерянно стоявшему у порога, упала на колени, я тоже, мы обнялись в этой коленопреклоненной позе и громко рыдали, не говоря ни слова. Потом мама начала собираться. Бабушка что-то сложила ей в небольшой черный саквояж, с которым отец обычно ездил в командировки. Перед уходом мама присела на стул, посадила меня на колени, мы крепко обнялись—и это было моим последним детским воспоминанием, когда мы были с ней вместе.

Мама почему-то надела теплое зимнее пальто. Начало октября в Чите обычно теплое, и она ходила тогда еще в легком летнем пальто и, как она вспоминала об этом впоследствии, до сих пор удивляется — как это она догадалась насчет зимнего пальто, оно ей так пригodiлось после! Успокаивая меня—«я скоро вернусь!»,—мама в последний раз поцеловала меня и бабушку и вышла со следователем. Шли пешком, и следователь был настолько любезен, что взял у мамы ее саквояж и понес

его сам; так они и шли рядом. Мама несколько успокоилась, полная уверенности, что действительно скоро вернется, она в этом не сомневалась. И даже позволила себе пошутить со своим спутником в том смысле, что никогда прежде не интересовалась работой НКВД и ей даже интересно в силу представившейся возможности поближе узнать это учреждение. Следовательно, наверное, удивился такой наивности, но шутку поддержал, дескать, нет худа без добра, вот и познакомитесь. Со стороны никто бы не смог догадаться, что эта мирно беседующая и неторопливо идущая по вечерней Чите молодая пара—палач и жертва.

За квартал до управления НКВД следователь передал саквояж маме, и они вошли—она впереди, он сзади — в здание. После коротких формальностей сначала у дежурного, а затем в кабинете следователя маму отвели в небольшую комнату на втором этаже, с решеткой на окне, выходящем во внутренний двор управления. Очевидно, это был следственный изолятор — маленький стол, стул и деревянный топчан с постелью. На первый официальный допрос маму вызвали, вернее отвели, примерно через полчаса; допрос вел все тот же следователь. Все его вопросы сначала касались только отца — каков его круг знакомых, с кем наиболее часто встречался, куда ездил за последние 2—3 года. Затем он поинтересовался тем, как часто у нас собирались гости, кто они такие, как проводили время, о чем разговаривали.

Вопросы были вполне обычные, без подвохов, мама на них откровенно отвечала, скрывать или что-то «приукрашать» было просто нечего. Вели ли разговоры о политике, когда собирались у нас дома? Да нет, просто выпивали-закусывали, как и все, иногда танцевали, играли в преферанс, в общем, веселились как могли. Политикой вообще не интересовались, может быть, это и плохо. Вопросов относительно самой мамы следователь почему-то почти не задавал, и это было странно, так как таким допросом не выяснялась и не устанавливалась ее собственная вина — она так и не поняла из этого первого допроса, в чем же ее обвиняют, коль скоро арестовали.

Почти таким же оказался и второй допрос на следующий день, но, кончая его, следователь спросил:

— Кстати, что вы думаете о дальнейшей судьбе вашего сына?

— Как что я думаю?—удивилась мама.— Пока он будет с бабушкой. А потом, я надеюсь вы меня скоро отпустите, и у меня будет время подумать и позаботиться о его судьбе, даже если он останется без отца.

— Да, конечно, но не исключена возможность, что мы вас задержим несколько дольше, чем вы предполагаете. Я хочу посоветовать вам дать согласие на временное помещение вашего сына в детский дом...—и, видя, что мама собирается решительно возразить, настойчиво стал убеждать в целесообразности такого совета:— Все-таки ваша мать пожилая женщина, работает, ей трудно будет уследить за мальчиком, да еще в такой нервной, необычной для него и для нее обстановке. Я думаю, в детском доме ему будет лучше. Вы же понимаете, что мы не только вас одну задержали, и, между прочим, почти все матери дали согласие на помещение своих детей временно в детский дом. Поверьте, там им всем вместе, сопричастным с одной и той же бедой, будет значительно лучше...

Он еще что-то говорил в этом же духе, но он лгал, причем ложь его была многоликой, и самой главной ложью было то, что когда он непонятно для какой цели (подумаешь, щепетильность при тогдашних беззаконии и произволе!) добивался маминого согласия, меня уже дома не было! И мама совершенно напрасно долгое время терзала себя за то, что дала это согласие.

На этом допросы при следственном изоляторе управления НКВД закончились. В тот же день маму с тремя женщинами посадили в машину и перевезли в другое заведение (не знаю даже, как и назвать его по назначению). Привели в камеру, довольно большую, по площади метров сорок, с двухэтажными нарами, с зарешеченным окном, с единственной лампочкой под высоким потолком. Может быть, это была следственная тюрьма, но никакого следствия здесь за время пребывания мамы не велось.

В камере уже были три женщины, лежащие на верхних нарах, и когда они поднялись с приходом новеньких, мама так и ахнула — одной из них была Настенька Калинина. Подруги страшно обрадовались, на радостях вдоволь наплакались, разместились рядом. Возможность этой близости, взаимной поддержки были для них просто подарком судьбы, если так можно сказать в этой ситуации. Мама и Настенька до конца этого нелепого задержания боялись, как бы их теперь не разлучили, а в том, что этот конец скоро настанет, они не сомневались. И надо же! — судьба не отняла своего «подарка», и они, начиная с этих нар, уже больше не расставались. Так и подмывает сказать—везет же людям!

Камера наполнялась с заметной последовательностью — по три-четыре человека через каждые два дня. Видно, в таком темпе работала система «арест—следственный изолятор—накопитель». Среди прибывающих оказалось несколько знакомых, в том числе и те, с которыми мама впервые встретилась, обивая пороги управления НКВД. Но вскоре все перезнакомились и даже подружились — несчастье, как известно, сближает. Больше всего говорили о своих мужьях, о судьбе которых до сих пор никто ничего не знал, и, конечно, о детях. Многие успели отправить своих детей к родственникам. Настеньке тоже удалось отправить свою дочь к сестре в Саратов, и в этом отношении она была более спокойна, чем мама, которая даже не знала, то ли я с бабушкой, то ли меня поместили в этот детдом, как советовал следователь. А каково было тем, кто оставил грудных детей? Были и такие.

Шепотом передавали друг другу невесть откуда просочившиеся слухи, что на допросах мужей пытаются, заставляя признаваться в несовершенных преступлениях. Неотступно сверлила одна и та же мысль—во имя чего все это делается, кому это нужно, что случилось в стране? Ведь власть не переменилась, а у многих мужья были членами партии, прошли через революцию и гражданскую войну, имели награды, до последнего времени были людьми заслуженными и уважаемыми. Невозможность найти ответ на все эти вопросы сводила с ума. О себе женщины задумывались меньше, чем о мужьях и детях, так как почти все были уверены в своем скором освобождении; их даже не столько тревожила, сколько удивляла какая-то нелогичность и нелепость своего положения. Вот их арестовали, оторвали от полезных дел, держат уже полмесяца, катают с места на место, кормят бесплатно, тратят на них средства и время — и ни в чем не обвиняют! Никаких допросов, если не считать коротких бесед вначале, да и то больше о мужьях, чем о них самих; хотя бы предъявили какую-нибудь паршивую бумажонку с обвинением! И как ни

парадоксально, но все эти оболваненные, сбитые с толку женщины сами очень желали, чтобы с ними обращались так, как положено обращаться с настоящими подследственными, чтобы их допрашивали как положено, и в чем-нибудь обвиняли, чтобы они имели возможность защищаться и знать: виноваты они или, не виноваты.

Но откуда им было знать, что все происходящее с ними было уже «узаконено». Откуда им было знать, что под эгидой принятых тогда законов получить клеймо «врага народа» или «изменника Родины», а заодно и пулю было пара пустяков. В этих «самых демократических в мире» законах было предусмотрено все, в том числе и то, над чем ломали голову наши женщины, не ведая, что о них заблаговременно позаботилась знаменитая и донельзя универсальная 58-я статья:

«...Остальные совершеннолетние члены семьи изменника Родины, совместно с ним проживающие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления,—подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет».

Скажи им кто-нибудь об этом тогда—не поверили бы, еще и сами обвинили бы этого информатора в распространении враждебных слухов, порочащих «самую демократическую».

За все эти дни на допрос была вызвана только одна. Соня Кудрич, мамина знакомая. Вызвали днем, все с нетерпением стали ждать ее возвращения, наконец-то начали разбираться! Но она не вернулась ни вечером, ни на следующий день. Подумали, что ее перевели или перевезли в другое место, но здесь остались ее вещи, ушла в одном платье.

Она вернулась на третий день. Когда конвоир открыл камеру, и в дверях появилась Соня, все в ужасе вскрикнули. С изможденным лицом и ничего не видящими глазами, она еле стояла на ногах, в одних галошах на босу ногу, держа туфли в руках; ее страшно распухшие ноги были какого-то синего цвета.

— Соня, что с тобой? — к ней бросились, чтобы поддержать и помочь пройти к нарам.— Что случилось?!

— Не надо... Не надо... Спать...—еле ворочая языком, прохрипела она и уснула, как только ее уложили.

После она рассказала, что ей пытались «пришить» какое-то личное дело. А допрос велся так—ее усадили на высокий стул, так что ноги все время были на весу, в лицо был направлен свет от настольной лампы.. Допрос продолжался практически без перерыва более суток, вели его два следователя, меняясь через несколько часов, а она сидела на этом стуле, пока не потеряла сознание. Сначала она вообще не могла стоять на ногах, а как только смогла немного двигаться, ее привели в камеру. Этот случай на всех нагнал страху, но продолжений, к счастью, не последовало.

Когда через пару недель «накопилось» человек сорок, всех снова погрузили на машины. Очевидно, на этот раз новое заведение было пересыльным пунктом, причем камера оказалась поменьше, с одинарными нарами с двух сторон. Места

всем не хватало, пришлось по очереди спать под нарами. Маме и Настеньке нравилось под нарами даже больше—не так холодно, помещение еще не отапливалось, хотя уже был конец октября; согревались теплом тел и дыханием. Вот тут-то впервые и пригодилось мамино теплое пальто. Настенька, надеясь скоро вернуться, ушла в одном легком плаще, и мама отдала ей свое одеяло, предусмотрительно сунутое бабушкой в саквояж. Одеяло не ахти какое теплое, но впоследствии оно еще не раз спасало Настеньку от холодов.

Именно на этом пересыльном пункте, дня через три после прибытия сюда, женщины, наконец, узнали о судьбах своих мужей, а вернее, о судьбе, так как она была одна на всех.

В камеру вошли два сотрудника НКВД, и один из них, попросив внимания, зачитал документ, в котором значилось, что Военная Коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев на закрытых заседаниях дела по обвинению в измене Родине и враждебной деятельности в отношении Советского государства и народа, приговорила таких-то и таких-то (шел перечень фамилий) к высшей мере наказания—расстрелу, и что приговор приведен в исполнение. В гнетущей тишине слушали обитательницы камеры дорогие их сердцу фамилии, имена и отчества, зачитываемые в алфавитном порядке, и те, чья буква была дальше, все еще надеялись...

Надежды не сбылись ни для одной. Очевидно, документ готовился специально для сообщения именно этой группе жен, потому что в перечне расстрелянных мужей было ни больше, ни меньше, а как раз точно. Как говорится, каждой сестре по серьге. Реакция была странная: все слушали с каким-то иступленным вниманием, иногда кто-то, услыша свою фамилию, тихо вскрикивал, но никто не плакал, не кричал, не бился в истерике. Это была немая сцена скорби, обреченности, удивления. Так они и стояли, молча глядя на тех двоих, что принесли им эту страшную весть. Те двое, видимо, тоже не знали, как вести себя в такой ситуации, и не придумали ничего лучшего, как молча удалиться. Через некоторое время женщины, осмысливая услышанное, стали подавать признаки жизни, приходило в себя. Кто-то заплакал, кто-то в отчаянии бросился на нары, кто-то схватился за голову, бормоча какие-то слова; с одной случился припадок, и она упала на пол. Сначала ни у кого не хватило толку помочь ей, настолько все были погружены в себя. За всем этим последовала бессонная ночь, и прожить ее было трудно...

Но время притупило и эту боль. Многие в течение недели выплакали и передумали все, что положено: ничего уже не изменишь. Нужно продолжать жизнь хотя бы ради детей, ведь их-то наверняка оставят в живых. И жизнь продолжалась, хоть и непонятно, в каком направлении, так как их собственная судьба до сих пор оставалась совершенно неясной.

Неожиданно мама получила небольшую передачу от бабушки. В ней было немного еды, но никакой записки, которая для мамы была важнее, не нашлось. Наверное, не разрешили, но уже хорошо, что нашла, что жива и здорова — единственный близкий человек, связывающий ее с волей.

Последние дни пребывания в этой камере были омрачены уже в чисто бытовом плане. Одна из стен камер оказалась просто дощатой перегородкой, за

которой была другая камера, до сих пор пустовавшая. И однажды туда поместили партию уголовников: женщин, матерей с грудными детьми. Они узнали, что за перегородкой находятся жены «изменников Родины», и в них тотчас проснулся «патриотизм», который вначале выражался в доносившихся оскорблениях типа «изменники», «враги народа», «барыни», вперемешку с непристойным матом и похабщиной. Мама впервые познакомилась здесь с образцами уголовного жаргона, до этого она и представить не могла, как омерзительна может быть опустившаяся женщина.

Впоследствии ей не раз приходилось сталкиваться с подобными извращениями, но это был первый урок и потому запомнился. Однако одной ругани и похабщины для полного выражения «верноподданнических чувств» оказалось недостаточно, и милые соседки придумали такой забавный вариант—расширяя щели между досками перегородки, стали вдвухать в камеру табачный дым (очевидно, им разрешалось курить), и вскоре, к ужасу ее обитательниц, камера стала наполняться дымом. Поднялся переполох, подумали, что у соседок пожар, стали стучать в дверь, вызывая охрану. Та явилась, приняла меры, и «пожар» прекратился. Но тогда изобретательные соседки придумали другую забаву — стали ловить у себя клопов и через щели направлять их «по ту сторону баррикад». То-то весело...

Слава богу, эти издевательства оказались непродолжительными. Вскоре женщинам вновь приказали собрать свои вещи, вывели во двор, погрузили на машины и отправили в уже настоящую тюрьму.

Новая камера была огромна, одна ее стена со стороны входа была свободной, а к трем остальным стенам в виде буквы П примыкали сплошные двухъярусные нары с небольшим разрывом сбоку, где была дверь в другое помещение с несколькими парашами и умывальниками. В камере уже находилось около восьмидесяти женщин — уголовниц, занимавших нары с двух сторон; для вновь прибывших были предназначены нары со стороны входа в туалет. Мама с Настенькой разместились на втором ярусе как раз возле туалета.

Пожалуй, из всех, что были и еще предстоящих пересыльных этапов, пребывание в этой читинской тюрьме было самым тяжелым испытанием. Уже не говоря о постоянной вони из туалета и непрерывного днем и ночью хлопаяния дверьми, одно круглосуточное общение с уголовниками было невыносимо. Те же оскорбления и враждебные выкрики, но теперь все это было еще и видно—тупые испитые лица с какой-то печатью порока, и непристойные жесты, наглые самодовольные улыбки подонков, упивающихся властью и вседозволенностью; бесшабашное буйное веселье во всеобщем соревновании, вся злость и обида за неустроенную жизнь, за арестантское житье-бытье с его отупляющей монотонностью и скукой,—все это сразу же, как только к этому представился повод, нашло неудержимый выход. Перед ними были женщины из другого мира, когда-то устроенного и благополучного, женщины образованные и воспитанные, ранее с ними не соприкасающиеся, а теперь вот, к великой их радости, низведенные до их уровня, уравненные с ними нарами, да к тому же—неблагодарные барыни, оказавшиеся «изменщицами», и «врагами народа».

Не знаю, какая была необходимость помещать наших жен в камеру вместе с отпетыми уголовниками; сотрудники НКВД не могли не знать, к чему может

привести такой контакт. Видимо, арестованных в то время было куда больше, чем арестантских мест; а, может быть, это была и сознательно планируемая акция унижения и подавления.

Жены старались не слезать со своих нар и не обращать внимания на разгулявшихся соседок. А те распоясывались все больше, придумывали все новые и новые забавы, вплоть до театрализованных представлений. Одна из наиболее разухабистых уголовниц, молодая и довольно смазливая, общими усилиями своих товарок была разодета «под барыню», а другая, наоборот, вырядилась в тряпье «служанки». Сначала они тщательно готовились к этому спектаклю, кучкой расположились в одном из противоположных углов, обсуждали, спорили, весело ржали, словом — репетировали. Вскоре под восторженными взглядами публики с «той стороны», под их аплодисменты и возгласы одобрения по камере начала гастролировать «барыня» со своей «служанкой». Господи, что они только не вытворяли! Это был каскад омерзительного словоблудия и непристойностей, о которых и рассказывать-то стыдно. Спектакль продолжался с небольшими перерывами почти целый день вплоть до отбоя, с бурным одобрением одной стороны и при полном игнорировании другой, демонстративно отвернувшейся от «сцены»; правда, кое-кто и отсюда изредка посматривал на представление — все-таки зрелище редкостное, такое и в кошмарном сне не приснится.

Много еще всяких мерзостей наслушалась-насмотрелась мама в этой читинской тюрьме, но хватит об этом, повесть не об изнанке уголовного мира, а об изнанке иного рода. Тем более, что вскоре наступили события, которых жены давно ожидали, но никогда не думали, что все произойдет так просто и так непохоже на те судебно-процессуальные нормы, что были им известны.

Неожиданно их всех по одному начали вызывать к начальству. И каждая вернувшаяся минут через десять имела уже свой срок. Вот так вот — без следствия, без предъявления обвинений, без какого-нибудь паршивого, хотя бы для видимости, суда. По тому, как «судили» их мужей, а сейчас их самих, трудно было понять суть происходящего. Все было непонятно, как бесовское наваждение, как дурной сон—хотелось ущипнуть себя и убедиться, что это не сон. Кончилось ожидание настоящего следствия и настоящего суда, где, как они надеялись, сразу же обнаружилась бы их невиновность. Сроки выдавались стандартные—три, пять и восемь лет—причем дифференциация их была не по степени «вины», одинаковой у всех—жена изменника Родины,—а по возрасту: пожилым давали 3 года, женщинам среднего возраста — 5 лет, ну, а те, кто помоложе,— на всю катушку. Настеньку, которая была на два года моложе мамы, вызвали раньше, и она вернулась с пожалованными ей восьмью годами. Когда вызвали маму и она очутилась в небольшом кабинете, за столом сидело трое мужчин в штатском.

—Поль Капитолина Николаевна? — спросил один из них.

— Да,— тихо ответила мама.

— Мы вызвали вас, чтобы довести до сведения приговор в отношении лично вас. О приговоре вашему мужу вы уже поставлены в известность. Так вот, как жена изменника Родины, на основании статьи 58 Уголовного кодекса вы приговариваетесь к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в лагере специального режима.

— Наказания... за что?—робко спросила мама, не поняв и на этот раз, в чем ее обвиняют.

— Неужели вам непонятно? Как жену изменника Родины,— с жестким ударением произнес этот вершитель человеческих судеб.— Благодарите за это вашего бывшего мужа... А теперь распишитесь вот здесь.

Он протянул ей какую-то бумагу, которую мама подписала, не читая. Когда она вернулась в камеру и на вопрос «сколько», которым встречали каждую, ответила 5 лет, то Настенька даже обиделась—как же так, почти ровесницы, ей дали 8 лет, а Капочке 5. Маме стало неудобно перед Настенькой, но тут появился охранник с очередной осужденной.

— Поль, на выход!—скомандовал он.

— Я уже была,—сказала мама.

— Снова вызывают, давай на выход.

Тот, кто вел с ней предыдущий разговор, встретил виноватой улыбкой.

— Вы уж нас извините, но мы допустили досадную ошибку и неправильно сообщили вам срок лишения свободы. Вы приговорены не к пяти годам, а к восьми. Вот тут мы все исправили, но вам придется расписаться, еще раз...

Если б мне об этом рассказывала не мама, а кто-то другой, я бы никогда не поверил, что такое бывает. Вот уж, действительно, идиотская игра в «правосудие», ставка которой — человеческие судьбы, а сам человек что игральная кость, которую можно кидать, как угодно. Но мама и в тот момент ни о чем не думала, ей было все равно—пять, восемь лет; даже еще лучше, Настенька не будет обижаться. Она молча, не говоря ни слова, расписалась вторично и возвратилась в камеру.

А через пару дней после раздачи сроков приказали собираться. Все были рады-радешеньки вырваться из этого ада. Вывели на двор тюрьмы, а там уже зима, снега еще нет, но холодно. Маме в теплом пальто в самый раз, а Настенька обернулась поверх плаща одеялом, тоже терпимо. Из тюрьмы до вокзала вели пешком, колонной по четыре человека в ряд. Шли посередине дороги, с конвоирами по сторонам, спереди и сзади. Была середина дня, с нормальной уличной толчеей. Прохожие с удивлением, останавливаясь или шагая рядом по тротуару, смотрели на эту странную и жалкую процессию. Путь был долгий, шли не спеша, и мама с удовольствием вглядывалась в знакомые улицы. И вдруг справа на тротуаре она увидела Нину Щербакову, дочь знакомого врача. Нина, тоже узнав маму, шла рядом по тротуару, прощально махая рукой.

— Передай Агнии Михайловне, что видела меня. Куда везут, не знаю! — крикнула мама, и Нина закивала головой.

— Прекратить разговоры!—заорал конвоир, и мама уже всю дорогу молчала, хотя Нина провожала ее до самого вокзала.

Когда заключенных привели на перрон, поезд еще не был подан, и старший конвоя скомандовал «садись!».

Арестантского опыта ни у кого не было, и многие не поняли, что от них требуется. Тогда конвоир разъяснил — «усаживайся на корточка!»— и все поспешили, кто как мог, выполнить эту команду. Сидеть на корточках было очень неудобно, а главное, стыдно, так как обычные пассажиры на перроне невольно обращали внимание на эту странную группу женщин, сидящих на холодном асфальте, а когда замечали конвоиров, стоявших несколько в стороне, то, наверное, думали, что это этапируют преступниц, может быть, даже опасных бандиток.

Наконец подали состав. Это был обычный пассажирский поезд, только к нему прицепили один арестантский вагон с решетками и матовыми стеклами на окнах. Заключенных подняли и выстроили возле вагона.

— А ну, кто помоложе, залазьте первыми, занимайте лучшие места!—весело и громко распорядился один из конвойных, открывая дверь.

И видя, что никто не решается первым воспользоваться этой любезностью, обратился к маме и Настеньке, которые стояли рядом.

— А вы, молодки, чего стоите? А ну залазьте, а то останетесь без мест.

— Да мы вроде уже и не молодые,—робко ответила Настенька,— есть и помоложе. А потом, пожалуй, лучше начать с пожилых...

—Пропадешь, ты, совестливая, если будешь всех пропускать впереди себя. Привыкай жить по-новому. А ну, марш в вагон! — уже сердито закричал конвоир и подтолкнул их к подножке вагона...

Ехали долго, ехали молча, оплакивая загубленных мужей, оставляя в родной Чите детей и близких. Но в то же время отдыхали от кошмаров читинской тюрьмы, пытаюсь изгладить из памяти все увиденное и услышанное там.

В пути вагон несколько раз отцеплялся и прицеплялся и наконец прибыл в конечный пункт назначения на станцию Акмолинск, в Казахстане. Там уже ждали машины. Снова посадка, и после нескольких часов езды по безлюдной степи машины остановились у ворот обнесенного колючей проволокой лагеря, уготованного моей маме и ее подругам по несчастью в качестве места пребывания в заключении. В реестрах НКВД сия обитель официально значилась, как 26-я точка Акмолин-ского отделения Карлага, но гораздо известнее было другое, менее официальное, но более понятное название—Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины или просто АЛЖИР.

ГЛАВА 5

Рассказывающая о том, что я тоже не был оставлен без внимания и мне была предоставлена возможность продолжить детство, но в нескольких условиях...

Когда закрылась дверь за мамой и ее спутником, на нас с бабушкой нашло какое-то оцепенение. Мы не рыдали, не плакали, сначала даже не разговаривали. Бабушка, тяжело вздыхая, принялась устранять беспорядок, причиненный обыском, а я почему-то вынул из футляра скрипку, поставил на пюпитр ноты и стал тихонько играть. «Грустная песня» Калинникова была под стать настроению. Бабушка вдруг спохватилась, что я еще ничего не ел после школы, пошла на кухню что-то разогревать на примусе, но кушать я отказался, заявив, что подожду маму. Не знаю, разделяла ли бабушка мою уверенность, но я-то был убежден, что мама скоро вернется. И когда часа через три после ее ухода вдруг раздался звонок, я с громким криком «мама пришла!» бросился к входной двери, поспешно открыл ее и увидел следователя, что был у нас недавно.

— А где мама? — спросил я, полагая, что она где-то рядом и я ее просто не вижу, так как уже стало темно.

— Подожди,—ответил следователь, проходя мимо меня в квартиру,— мамы твоей здесь нет, но ты ее скоро увидишь,— и я пришел-то за тобой. Из кухни вышла бабушка, молча уставилась на следователя.

— Агния Михайловна, соберите, пожалуйста, внука,—сказал тот,—немного одежды, лучше потеплей, что-нибудь поесть, и я отведу его к матери, пусть он пока побудет с ней.

— Да, да... конечно,—засуетилась бабушка, не задавая лишних вопросов.— Я сейчас, присядьте, пожалуйста...

Тот присел, я быстро оделся, бабушка собрала маленький чемоданчик, с которым я ездил в лагерь. Минут через десять все было готово, мы попрощались с бабушкой и вышли из дома.

— Пойдем пешком? — спросил следователь.

— Пойдем пешком,—в тон ему ответил я, ликуя от близкой встречи с мамой. Обменявшись этими ничего не значащими фразами, мы как бы установили между собой контакт, как двое людей, объединенных одной целью и знающих, куда и зачем идут в этот поздний час по почти пустынным улицам. Я даже не спрашивал, куда мы идем, доверяя своему спутнику, хотя шли мы явно не в ту сторону—управление НКВД было в центре города и нужно было повернуть направо, а мы почему-то повернули по Бутинской влево, дошли до Смоленской, повернули по ней направо и, пройдя три-четыре квартала, остановились перед деревянным двухэтажным домом без каких-либо вывесок. Мой спутник позвонил, дверь открылась, и милиционер пропустил нас внутрь.

В доме никого не было, кроме еще одного милиционера, сидевшего возле тумбочки на втором этаже. Этот милиционер без лишних слов поднялся, открыл ключом нужную дверь.

В большой комнате, тускло освещаемой лампочкой, я увидел два ряда кроватей, часть которых уже была занята спящими.

— Заходи,— подтолкнул меня следователь, видя, что я замешкался и недоуменно озираюсь.

— А когда я увижу маму?—с беспокойством спросил я, не понимая, куда я попал и видя, что он собирается уходить.

— Увидишь, увидишь... Переночуешь здесь, а завтра увидишь,—ответил следователь и, показав на одну из кроватей, добавил,—раздевайся и ложись, утро вечера мудренее...

Он вышел и замкнул дверь на ключ. Я потихоньку, боясь разбудить спящих, пробрался до кровати, разделся, натянул на себя одеяло и... мгновенно уснул. Очевидно, волнения и переживания этого памятного на всю жизнь дня были настолько сильны, настолько меня истощили, что я уже больше не мог ни переживать, ни думать, ни противиться внезапно охватившему сну. Пожалуй, именно этот целительный сон был прежде всего необходим мне сейчас...

На следующее утро я был разбужен гулом голосов. Комната была полна ребят разного возраста—были здесь и мои однолетки, были младше и старше. Кое-кто, как и я, еще валялся в кровати, но все уже проснулись, ужасно галдели, так что дальше спать было невозможно. Двери комнаты были открыты настежь, из коридора доносились те же многочисленные голоса, и по полотенцам в руках ребят я понял, что идет утренний туалет, знакомая картина по пионерлагерю. Но куда я попал? Я по самые уши натянул на себя одеяло, стал боязливо осматриваться. И вдруг увидел знакомое лицо. Это был Витька Гигарсон. Он был лет на пять старше меня, а подружился я с ним еще тогда, когда мы только приехали из Зилова и Витька вместе со своими родителями даже жил в нашем доме, пока они не получили собственную квартиру.

— Витя!—обрадованно закричал я, махая рукой.

— О, Горик, здорово, и ты здесь?— Витька подошел ко мне, на ходу вытираясь полотенцем.—Когда ты здесь объявился?

— Вчера вечером, когда вы уже спали. А сегодня меня отведут к маме.

— К маме? Что, тетю Капу тоже арестовали?

— Да, вчера. А потом тот же следователь, что увел маму, пришел за мной, привел зачем-то сюда и сегодня отведет к маме.

— Кто тебе сказал это? — Витька смотрел на меня с сожалением.

— Как кто? Следователь и сказал. Он пришел за мной, привел сюда, а сегодня отведет к маме,— меня будто заклинило на этой фразе.

— Ну и дурак же ты, Горик,—спокойно, со снисходительностью старшего, произнес Витька.—Тебя же на мякине провели, чтоб ты не ревел. Знаешь, куда ты попал? Это же детский распределитель, раньше сюда всяких беспризорных и блатных малолеток свозили перед отправкой в колонии или детдомы. А теперь этот распределитель отдали НКВД для нас, детей арестованных. Мою маму тоже арестовали, я уже три дня здесь. И у всех, кто здесь, родители арестованы. Говорят, скоро нас всех будут развозить по детским домам. А ты говоришь—к маме. Дурак ты, Горик,—вновь заключил Витька и, видя, что у меня на глазах появляются слезы, добавил.—Только не хнычь, слезами тут уже не поможешь. Меня сюда силой затащили, мент руки выворачивал, и то ничего. А многих, как и тебя, заманили сказками. Так что, всем нам плакать? Не дождутся гады. И скажи еще спасибо, что попал вместе со мной, я тебя в обиду не дам.

Я и не стал плакать. Вокруг меня сидели, ходили, бегали, даже веселились такие же, как я, и никто из них не плакал. Все равно, если не сегодня, так потом увижу маму, не все же время меня будут здесь держать. А про детдом Витька просто загнул — при живых-то родителях, не сироты ведь...

Я оделся, застелил кровать, как у всех, походил по комнате, а затем и по коридору, знакомясь с домом. В нашей комнате было шестнадцать кроватей — два ряда по восемь. Кроме нашей комнаты на втором этаже было еще несколько комнат и там тоже были дети—отдельно мальчики, отдельно девочки. А на первом этаже были расположены служебные помещения, в том числе столовая, куда водили по комнатам в порядке очереди.

Детей собирали сюда со всех концов города в возрасте от 8 до 16 лет; дети были разные, большинство из них были тихие и скромные, но нашлось и несколько настоящих хулиганов. Эти вели себя развязно, сквернословили, задирались, обижали тех, кто послабее, и Витькино покровительство мне здорово пригодилось. Он рассказал мне, что два дня тому назад двое пацанов ночью сбежали. Ночью распределитель охранялся двумя милиционерами: один у входа внизу, а второй у входа на втором этаже. Но так как эти стражи ночью спали, то беглецам удалось проскользнуть мимо обоих и открыть наружную дверь. Хватились их на следующее утро и вроде еще не нашли. С тех пор двери комнат на ночь стали запирасть.

Мало-помалу я стал привыкать к этой ненормальной жизни полуарестанта. Сначала было непривычно без школы, без занятий музыкой. Но вскоре и я привык к этому монотонному и бессмысленному времяпровождению. Кормили нас три раза в день, были какие-то книги для чтения, даже немудрящие настольные игры, и мы целыми днями были предоставлены самим себе. Связь с внешним миром была отрезана. Нас не выпускали на улицу, никто не приходил на свидания; очевидно, это было запрещено. Никто из наших близких, еще оставшихся на свободе, видимо, просто не знал, где мы находимся.

За все время пребывания в этом распределителе, а я пробыл там примерно полмесяца, мы только один раз покинули его стены, и то в силу вынужденной необходимости — нас всех повели в баню. Ради этого случая нас подняли рано утром, еще до шести часов. Причину этого можно было понять — не хотелось привлечь внимание горожан к этому необычному шествию. Наверное, те редкие прохожие, оказавшиеся в это раннее время на улице, с удивлением взирали на колонну полусонных, уныло бредущих посередине дороги детей в сопровождении

двух милиционеров. Наверное, у многих из них невольно появлялись мысли о растущей детской преступности, о том, что беспризорщина еще не перевелась.

Жизнь продолжалась по заведенному порядку, и наиболее памятным осталось для меня потрясение, пережитое нами при вести об участии своих отцов. Каким-то образом в распределителе оказался экземпляр газеты «Забайкальский рабочий» (теперь я знаю, что это был № 232 от 8 октября 1937 года, и храню копию этого номера как неутраченную боль). На первой странице жирным заголовком было напечатано **«Приговор врагам народа приведен в исполнение»**.

Газета переходила из комнаты в комнату, из рук в руки, зачитывалась вслух и про себя. Из нее мы узнали, что **выездная сессия Военной Коллегии Верховного Суда СССР в г. Чите рассмотрела дело об участниках антисоветской террористической и шпионско-диверсионной организации троцкистов и правых, действовавшей на железных дорогах Восточной Сибири и занимавшейся по заданиям агентов японских разведывательных органов шпионажем, вредительством и совершением диверсионных актов, а также подготовлявшей ряд террористических актов против руководителей советской власти.**

Конечно, многие из нас, слушавшие страшные обличения этого заумного текста, ничего толком понять не могли, но такие слова, как «шпион» или **«вредитель»** были понятны и с болью западали в душу. Далее за этим сообщением следовал **список участников разоблаченной организации—всего 116 человек. Шестнадцатым по списку был мой отец.** Ниже сообщалось, что все поименованные здесь приговорены к высшей мере наказания — расстрелу, и что приговор приведен в исполнение.

Те, что годами поменьше, еще, пожалуй, не могли во всей полноте сознательно воспринять значимость случившегося и испуганными, недоуменными глазами поглядывали на старших. Старшие были потрясены сильнее. Первыми их эмоциями были дикая злоба и ярость ко всему. Они сознавали свою беспомощность, в них kloкотали боль и обида. С дикими истеричными криками они принялись переворачивать кровати, рвать постельное белье, ломать все, что попадалось под руку (разбили одно окно, но вовремя опомнились и заткнули дыру подушкой, на улице было холодно).

В этот акт стихийного протеста включились и остальные. Безумие охватило все комнаты распределителя. Шум поднялся невообразимый, прибежал дежурный надзиратель, увидел этот погром и позвал постовых милиционеров. С большим трудом удалось им прекратить беспорядок. Несколько взрослых мальчиков, в том числе и Витька, были посажены в карцер на первом этаже.

Когда страсти несколько успокоились, мы начали приводить комнаты в порядок, но жажда протеста все еще не была исчерпана. Дело было под ужин, и, сговорившись, мы решили не ужинать, демонстративно вывалить еду из тарелок на стол. Это было сделано, даже девочками. Снова выявляли зачинщиков, но все упорно молчали. В общем, остаток этого необычного дня прошел более-менее благополучно, и засыпали мы до предела утомленными и опустошенными. Наши надзиратели, узнав о причине такого бунта, видимо, посчитали ее достаточно оправдательной, чтобы не предпринимать дальнейшего расследования и

карательных акций, так что наутро наши заводилы были выпущены из карцера. На следующий день все мы ходили как неприкаянные, на этот раз молча и спокойно (по крайней мере с виду), переживая гибель своих несчастных отцов и еще неизвестные судьбы матерей.

Но вот наступил день, когда нас накопилось как раз столько, сколько положено, кто-то где-то еще раз кинул игральные кости, и мы оказались распределенными по местам дальнейшего пребывания. Кому куда выпала судьба — было неизвестно, но, как говорится, в один прекрасный день всех обитателей распределителя собрали вместе, вывели на улицу, посадили в автобусы и привезли на вокзал. Там нас, еще задолго до начала общей посадки, погрузили в один из вагонов. пассажирского поезда. Всего нас было человек 50—60.

Нас разбили на четыре группы, и каждую группу возглавил сопровождающий в штатском. Как мы уже догадались, эти группы, различные по числу и возрастному составу, были разбиты по пунктам назначения, которые по каким-то соображениям держались в тайне. Вместе с нами в вагон были погружены ящики с продуктами, и в пути старший группы каждое утро выдавал сухой паек—в основном хлеб, колбасу, сахар. На промежуточных станциях с долгой стоянкой обычно кто-нибудь из старших брал с собой одного-двух взрослых ребят и они приносили свежий хлеб, который, очевидно, был приготовлен специально для нас. Система работала четко.

Ехали мы спокойно, без происшествий, как вдруг случилось ЧП—у одного из сопровождающих сотрудников был украден пистолет. Девочек сразу же исключили из числа подозреваемых, а нас начали по одному вызывать в купе сопровождающих. Допросы велись по всем правилам того времени — под пистолетом, с криками и угрозами. Некоторых даже били. Я тоже прошел через допрос, но, видно, особого интереса для допрашивающих не представлял, и меня быстро отпустили. Не знаю, чем бы это все кончилось, но к вечеру этот злополучный пистолет был обнаружен на довольно видном месте, которое до этого много раз просматривалось, и это значило, что пистолет все-таки был украден, а потом, когда воришка увидел, что дело приобретает опасный оборот, подброшен. Тайна этой кражи так и осталась нераскрытой.

По времени пришлось так, что праздник 7 ноября мы встречали в поезде. По этому случаю всем нам дополнительно к традиционному сухому пайку выдали по пачке печенья и по несколько конфет,

Поезд шел, а нас становилось все меньше и меньше. Еще в Сибири сошли в разных городах две группы, сошел и Витя Гигарсон, который до последнего времени опекал меня. Расставание было для меня печально, ибо, честно говоря, всей своей прежней безбедной, обеспеченной жизнью я совершенно не был подготовлен к самостоятельности и во многих случаях не мог постоять за себя. Я был типичный благовоспитанный «маменькин сынок», совершенно не знающий изнанки жизни, а она, эта изнанка, стала вдруг встречаться в значительно больших порциях, чем следовало бы для детских лет.

Когда я узнал, что Витя скоро сходит с поезда, я со слезами умолял сопровождающего, чтобы он и меня взял вместе с Витей, никак не понимая, почему это невозможно, не ведая по наивности, что наши судьбы решал не этот рядовой сотрудник, а далекие дяди, которым было дано право бросать игральные кости.

Наша группа из восьми человек сошла на станции Челябинск и пересела в поезд до Магнитогорска, где, как, наконец, сказал наш сопровождающий, был наш детский дом. Путь до Магнитогорска недолог, и мы просто сгорали от нетерпения, — все-таки скоро будем «дома», как-то он нас встретит?

От железнодорожного вокзала пришлось долго шагать до Ново-Туковского поселка, окраинного района города. Но вот мы наконец возле двухэтажного деревянного здания. Надпись на доске у входных дверей извещала, что это детдом № 3 Ново-Туковского района города Магнитогорска-новая веха в продолжении моего детства...

ГЛАВА 6

Рассказывающая о первом периоде освоения Алжира и заканчивающаяся удивительной встречей, которую трудно назвать радостной, но и не хочется называть печальной...

Лагерь был, что называется, с иголочки. Судя по всему, его построили недавно и с вполне определенной целью. Строили заключенные-уголовники, о чем свидетельствовали их «визитные карточки» — написанные, нацарапанные или даже выжженные солнцем через - стекло послания к женщинам. В знак особой симпатии к будущим обитательницам лагеря встречались выразительные иллюстрации с надписями, например: «если будет холодно на нарах—позовите нас» или «уголовник не буржуй, но и у него все на месте». Были и более лаконичные надписи, но от того не менее красноречивые.

В том первоначальном виде, в каком лагерь предстал перед мамой и ее подругами, он состоял из шести больших деревянных бараков и нескольких служебных домиков поменьше, окруженных колючей проволокой и четырьмя сторожевыми вышками по углам. Все это великолепие, как прыщ на ровном месте, одиноко торчало посреди безлюдной степи, где в пределах видимости не просматривалось ни одного деревца, ни одного нормального человеческого жилища. Вдоль стен бараков по центру возвышались два ряда примыкающих друг к другу двухъярусных нар, так что везде между нарами и стенами оставался примерно полтора метровый проход; с одного торца бараков был вход, а на другом конце размещались умывальная комната, туалет и еще небольшая комнатка специально для старосты барака. Каждый барак был рассчитан примерно на 200 человек, так что весь лагерь мог вместить более тысячи. Но пока он был еще пуст, и партия, с которой прибыла моя мама, была, как говорится, первой ласточкой. Женщинам этой группы выпала честь первыми обживать уникальное творение сталинского режима под романтическим названием Алжир.

Прибывших разместили в одном из бараков, старостой которого была назначена Соня Кудрич—та самая, которую допрашивали в читинской следственной тюрьме. Неизвестно почему выбор лагерного начальства и теперь выпал именно на нее, но в этой первой по лагерной иерархии административной должности она успешно пребывала все отмеренные ей восемь лет. А обязанности старосты были

весьма широкие—поддерживать в бараке установленный порядок, улаживать конфликты между обитательницами барака, проводить вечернюю поверку, получать и распределять задания на работу; в общем, осуществлять многогранную связь между заключенными и лагерным начальством. А начальство состояло из начальника лагеря в звании старшего лейтенанта, еще двух-трех офицеров и караульной команды. Весь этот персонал жил рядом, вне колючей ограды, по лагерной терминологии — «за зоной».

Как говорится, свято место не пустует, и вскоре бараки начали заполняться. Не проходило, пожалуй, и недели, чтобы машины не доставляли новую партию «алжирок». Были здесь посланцы и Украины, и Армении, и Средней Азии. Вот уж действительно—широка страна моя родная! И откуда их только не везли—от Москвы до самых до окраин!

Вспоминая Алжир, мама всегда говорила, что это был очень хороший лагерь (будто знала, какими бывают очень плохие лагеря или просто хорошие). Конечно, они постоянно чувствовали себя лишенными свободы — колючая проволока и охрана, полная изоляция от внешнего мира (в первые два года не разрешалось писать даже родным и близким),—но режим здесь был не строгий, и лагерная администрация относилась к ним не как к преступникам, а как к нормальным людям, которых в силу имеющихся распоряжений все же следует подержать в загоне. Особой, унижающей личность грубости здесь не было. Даже охрана носила чисто формальный характер. Убегать никто никуда не собирался. Все это знали, и часто на сотню работающих где-нибудь вдали от зоны назначался один единственный охранник, который мирно спал, положив винтовку рядом, и которого робко будили, когда наступало время возвращаться. По крайней мере, по сравнению с читинскими пересылками это был рай.

Если бы возможно было убрать внешние атрибуты заключения: колючую проволоку и сторожевые вышки, то гипотетический посторонний посетитель лагеря мог бы подумать, что это просто добровольное сообщество эмансипированных женщин, которые съехались сюда из разных уголков страны и общими усилиями, невзирая на примитив и неудобства быта, вдали от суеты и шума городского занимаются немудрящим натуральным хозяйством на условиях полного хозрасчета и самокупаемости.

Вполне естественно, что среди них нашлись искусные повара и хорошие организаторы кулинарного производства, которые возглавили местный пищеблок, ухитряясь при скудном минимуме дневного рациона готовить более или менее сносную еду. Нашлись медицинские работники почти всех нужных специальностей, которые возглавили местный медпункт, и жены лагерного комсостава (как и сам комсостав, между прочим) предпочитали лечиться у них, а не в Акмолинских городских поликлиниках, до которых было не так уж и далеко.

Здесь были и свои квалифицированные агрономы, которые за пару лет на этой обиженной природой земле так организовали огородное и зерновое хозяйство, что лагерь круглый год имел собственные свежие и переработанные овощи и другие дары земли. Подавляющему большинству заключенных пришлось срочно переквалифицироваться. Одна бывшая преподавательница музыки по классу фортепиано и ее подруга — бывший бухгалтер — успешно справлялись с

обязанностями конюхов, так что лошади в местной конюшне всегда были сытыми и били копытами.

Но все это пришло потом, а сначала, пока еще кровоточили раны, было трудно и непривычно. Работу поначалу почти не давали, а в безделье, как известно, в голову день и ночь лезут всякие мысли и вопросы, ответов на которые не было. Мама с Настенькой стали гадать, чем бы заняться, и придумали—попросили назначить их уборщицами по умывальнику и туалету. На этой работе они подвизались до самой весны следующего года; было не столько трудно, сколько неприятно, так как в их обязанности входило время от времени выгребать отхожие ямы, содержимое которых вывозилось в специально вырытые ямы, где накапливались будущие удобрения.

В первую зиму основной работой была заготовка дров, а точнее камыша, который в изобилии рос на берегах нескольких небольших озер в радиусе пяти километров от лагеря. Его срезали, собирали, резали на мерные куски, везли на подводах в лагерь, доводили до кондиционных размеров и складировали. Из этих же озер брали и воду для лагерных нужд. Первое время и камыш, и воду возили на себе. К телегам привязывались две длинные веревки, в каждую из которых «впрягалось» до двадцати женщин, образуя тяговое устройство типа 2Х20Ж. Упомянутые выше лошади появились позднее, после приезда в лагерь высокого начальства, которое по достоинству оценило этот живописный транспортный комплекс. В душе начальства проснулось что-то человеческое, в результате чего лагерь вскоре перешел на более современный вид транспорта с использованием лошадей вместо женщин.

Ближе к весне обитателей лагеря заметно прибавилось, а вскоре и работы оказалось невпроворот. Всем выдали рабочую спецовку—штаны, куртку серого цвета, ботинки. Мама говорила, что этот первый в ее жизни «брючный костюм» очень ей шел, и она в нем мило выглядела, только вот оценить было некому. Часть заключенных отрядили на вспашку огородов, на рытье арыков и магистрали до одного из озер. Другая часть была направлена на стройку—при лагере мудро задумали построить швейную фабрику, благо что швей здесь было хоть отбавляй: в те времена почти каждая женщина умела шить. Среди «алжирок» нашлись и опытные строители-прорабы, и мастера, а в рядовых рабочих недостатка и подавно не было. Пошла на стройку и мама. Стройка началась с изготовления саманов, которые тут же, недалеко от лагеря, и делались. Дело, в общем-то, нехитрое—рыли яму в глинистой почве размером приблизительно 3х3 метра, заливали ее водой, кидали туда ранее вынутую глину, и 3—4 человека, забравшись в яму, месили этот глинистый раствор ногами; затем туда бросали мелко нарезанную солому и вновь месили.

Когда замес был готов, его лопатами укладывали в приготовленные формы, хорошо утрамбовывали, чтобы не было пустот, затем формы опрокидывались, и освобожденные от формы кирпичи в течение нескольких дней сушились на солнце. Другие бригады в это время готовили фундамент, и когда он был готов, началась кладка корпуса будущей фабрики.

Перешла на кладку и мама, весьма преуспев в этом и заслужив репутацию передовика производства, за что получила соответствующую награду— 800

граммов хлеба в день. К слову сказать, нормальным пайком было 600 граммов хлеба, а нерадивым давали всего лишь 400.

Корпус фабрики был закончен к осени, а к концу 1938 года, уже полностью оборудованная, фабрика была сдана в эксплуатацию, и часть заключенных перевели на работу в ней—шили различную рабочую одежду. Для реализации продукция шла на волю.

Мама работать на фабрику не пошла, а устроилась поливальщицей на полях. К тому времени была уже сооружена целая система оросительных каналов — арыков, и в обязанности поливальщиц входило не только время от времени открывать и закрывать затворы для подачи воды на отдельные участки поля, но и вносить в почву удобрения, к которым мама с Настенькой в свое время уже «приложили руки».

Настенька, кстати, по-прежнему самоотверженно трудилась на этом не совсем приятном поприще—его преимуществом являлось отсутствие нормы и 800 граммов хлеба «за вредность». Эти удобрения загружались в яму, туда подавалась вода, все это удовольствие перемешивалось и затем через открываемый затвор направлялось в арыки. Работа велась круглосуточно, мама сначала работала в первую смену, а потом попросилась во вторую—с 11 вечера до 6 часов утра. Если днем для видимости на поле еще держали одного-двух охранников, то ночью поливальщицы—они работали в паре—оставались наедине с собственными мыслями и с лунным безмолвием, иногда нарушаемым далеким волчьим воем.

О чем только не думалось в эти бессонные ночи! Вспоминалась не такая уж далекая по времени прежняя жизнь, но столь далекая от этой действительности. Не таясь луны и в голос с волками еще и еще раз оплакивали погибших мужей, с мучительной тревогой думали о детях, судьбы которых для многих, в том числе и для моей матери, были неизвестны. И уже не оставалось места мыслям о собственной, загубленной по чьему-то произволу жизни, и не было уже былых надежд на возможность справедливости, на прекращение этого кошмара. Чаше стали появляться мысли, пока еще пугающие крамольностью, что в стране что-то неладное, и что не так уж велик и мудр тот, кто допустил это...

Пожалуй, тяжелая и изнурительная работа была единственным средством забыться и не считать время, тем более, что обитательницы Алжира были лишены какого-либо организованного досуга и хотя бы маломальской духовной жизни. В лагере не было ни радио, ни библиотеки или хотя бы для нужд «перевоспитания» какого-нибудь «красного уголка». Газеты попадали в лагерь случайно, по милости администрации и охраны. Особенно убивало запрещение переписки с родными и близкими. Это было настолько мучительно, что большая группа женщин, представляющая все бараки лагеря, набравшись смелости, обратилась к заместителю начальника по политчасти—человеку довольно добродушному и не злему, часто успокаивающего обитательниц Алжира словами «ничего, бабоньки, терпите—каждому сроку приходит конец». При этом в знак особого расположения к какой-нибудь молодой и симпатичной «алжирке» он иногда всемилостивейше похлопывал ее пониже спины. За эти видимые жесты утешения и неказенного отношения его за глаза все звали Валерьян Валерьянычем. Вот к этому Валерьян Валерьянычу делегация женщин, рискуя попасть под статью «массовое проявление протеста», и обратилась с просьбой разрешить послать на волю весточку о себе, и

даже не всем, а хотя бы нескольким из одного барака. За это все они брали обязательства перевыполнять нормы на любых работах.

Валерьян Валерьянович для начала доломался, а потом со словами «эх, была не была, бабоньки, беру грех на свою душу» разрешил из каждого барака написать по десять писем.

Что тут поднялось! Вселенская радость! Начались поиски более менее пригодной бумаги и карандашей, а затем и само написание писем, что было совсем не простым делом. В каждом письме коротко сообщалось о себе, какие-то личные просьбы, а затем следовали- десятки других адресов, куда следует написать далее по цепочке, сообщая о других товарках по бараку. Терпеливо ждали каких-либо вестей с воли, но когда прошли все логические сроки для ответов, снова обратились к любезному Валерьян Валерьянычу; тот, как всегда, успокоил—дескать, «пишут, бабоньки, пишут, потерпите маленько». Но при последующих обращениях ему, наверное, уже самому стало неудобно повторять одно и то же «утешение», и однажды он заявил женщинам, что, судя по всему, их родственники молчат лишь потому, что отказались от них и не желают иметь никаких связей, а чтобы развеять всякие сомнения на этот счет, доверительно добавил—«это бывает, бабоньки, бывает, все-таки вы жены изменников родины и с этим следует считаться». Позднее стало известно, что письма из лагеря даже не выходили, а просто сжигались в конторе...

Единственной отдушиной в этом духовном вакууме была возможность общения друг с другом, особенно в вечернее время, после ужина и до отбоя, а зачастую и далеко за полночь, когда можно поделиться думами и тревогами. В силу, необходимости близкого общения постепенно складывались группы, объединяющие между собой симпатизирующих друг другу людей с более или менее сходными характерами, привычками. А они, хотя и уравненные ныне общими нарами, были очень разными, эти вырванные из разных жизней женщины. Постоянное длительное общение в этой стиснутой рамками теперешней жизни. От которого просто некуда деться, позволило быстро и почти безошибочно определиться в своих симпатиях и антипатиях.

Была такая группа близких подруг и у мамы. Настенька Калинина, Мура Приходько из Одессы, бывшая учительница и жена врача; Аня Потяк из Харькова, бывшая домохозяйка и жена одного из руководящих работников Союза украинских писателей; имена еще двух-трех подруг память не удержала. Всем им удалось в конце концов расположиться рядом на нарах, работать они по возможности старались вместе и помогали друг другу, чем могли.

Между прочим, работа поливальщицы имела еще то несомненное преимущество, что давала возможность вдоволь лакомиться свежими овощами. Вообще-то распоряжением по лагерю есть в поле овощи, особенно огурцы и помидоры, и тем более приносить их в зону было запрещено. За этим следили прежде всего охранники и участковые агрономы. А когда бригады возвращались в зону на обед и вечером после работы, то на проходной их не очень строго осматривали, но бывало, что кто-то попадался и даже наказывался под горячую руку. А в ночную смену бояться было нечего, сам себе хозяин, и приносить в зону овощи было проще.

Мама доставала пару-другую отборных огурцов и помидоров из потайных мест, специально устроенных ею в «брючном костюме», и тайком передавала подругам, подруги ели не сразу, а дождавшись отбоя и с головой накрывшись одеялами, чтобы их не увидели или не «унюхали» некоторые товарки по бараку и не донесли начальству. Смачно и дружно вгрызаясь в свежую мякоть «запретных плодов», женщины тихонько вели свои бесконечные разговоры.

Друг о друге, о своей прошлой жизни они знали почти все, и теперь основной темой разговоров были дети. Настеньке было легче, она уже получила весточку от своей сестры в Саратове и знала, что дочь ее жива-здорова, кончает школу, вроде все в порядке. А Мура в один из таких вечеров, глотая слезы, зачитала письмо от своей сестры, с которой ей удалось каким-то образом оставить сына и тем самым избежать детдома. Сестра сообщала, что на мальчика настолько подействовал арест отца и матери, а затем и известие о расстреле отца, что он перестал ходить в школу, проводил время неизвестно где, избегал всякого общения, а когда к нему подходили, он неистово кричал: «Не подходите! Я сын врага народа!»

Мама пока не имела никакой связи с внешним миром. Неужели бабушка до сих пор не может ее разыскать и сообщить о Горике? Ведь другие как-то находят! Господи, уж не заболела ли она, не лежит ли где-нибудь в больнице? А может быть, ее уже нет в живых? Или тоже арестовали? Или переехала в другой город? Именно так и было на самом деле: бабушка, не сумев узнать, куда исчезли мама и я, решила, боясь репрессий, уехать в Томск, где когда-то проживала ее старая подруга по прежней учительской жизни. Чтобы не навредить подруге, бабушка ничего не сообщила ей о своем решении и уехала из Читы, не оставив никаких следов, а когда приехала, то, к великому огорчению, узнала, что подруга в Томске уже не живет. Но делать было нечего—бабушка осталась в Томске, продолжая искать меня и маму. Однако я забегаю вперед—прежде чем ей все-таки удалось нас разыскать, произошло много других событий...

Одним из таких событий явилась удивительная встреча. Если бы я прочитал о подобной встрече в книге или увидел в кино, я бы непременно подумал, что авторы ради драматизации сюжета выдумали небылицу. Но действительность зачастую удивительнее выдумки, и эта встреча тому подтверждение. Однажды женщины маминого барака направились на обед к пищеблоку, но предыдущая партия еще не закончила трапезу и не освободила помещение. Минут через десять те начали выходить, и тут возле самого входа мама, не веря своим глазам, увидела свою сестричку Валечку. Обе были настолько поражены этой встречей, что молча, не спуская глаз друг с друга, сделали еще несколько медленных шагов навстречу, так же молча бросились друг другу в объятия и упали. Движение затормозилось, женщины, не зная, в чем дело, шумно напирала с обеих сторон. Произошла небольшая давка, но те, кто был рядом, окружили сестер плотным кольцом, движение остановилось, и когда окружающие поняли, что встретились сестры, в нормальной жизни разделенные десятком тысяч километров, встретились в этом неведомом людям и забытом богом Алжире, то, плача, стояли еще некоторое время и оберегали эту удивительную встречу.

А у мамы и Валечки хватило сил лишь на то, чтобы приподняться с земли, сесть и смотреть друг на друга, ничего не видя из-за слез, говорить что-то, ничего не понимая.

ГЛАВА 7

Продолжающая предыдущую, но с некоторым ретроспективным отступлением по поводу встречи, рассказанной выше...

Коль скоро в нашу повесть об Алжире так неожиданно вторглась еще одна семейная линия, то законы жанра просто не позволяют ограничиться одной констатацией факта и не поведать о том, как это все произошло.

Я уже упоминал вначале о маминой старшей сестре Валечке. В последний раз мы встретились и распрощались с ней в этом повествовании на том памятном мамином дне рождения, когда скоропостижно скончался ее свекор.

Вся предшествующая жизнь Валечки после окончания гимназии была в общем-то проста и обыденна. В семнадцатом году она вышла замуж за преподавателя гимназии, где ранее училась и директором которой ее муж, по фамилии Селюк, стал впоследствии. Очень скоро Валечка поняла, что ее личная жизнь не сложилась, хотя внешне, со стороны, она и Селюк представляли собой вполне благополучную супружескую пару— молоды, красивы, обеспечены, тем более, что вскоре у них появился сын Гавриил, или Гаврик, как звали его близкие. Но и появление ребенка ничего не изменило в лучшую сторону. Дело в том, что у Селюка еще до его женитьбы была продолжительная и, судя по всему, довольно прочная связь с одной преподавательницей французского языка. На время эта связь прервалась, но затем, видимо, Селюк сделал оценку близким ему двум женщинам и отдал предпочтение бывшей любовнице. Он стал часто «задерживаться на работе», участились «совещания», и вскоре Валечка поняла, что ее попросту обманывают. Однажды, когда он еще с утра предупредил Валечку о том, что вечером после занятий будет очередное совещание и он, очевидно, припозднится, она набралась смелости и решила проверить. Вечером, когда все нормальные совещания обычно уже заканчиваются, она вместе с Капочкой, которую прихватила с собой для храбрости, пришла в гимназию и от старушки-сторожихи узнала, что никакого совещания сегодня не было.

После этого визита сестры пошли не домой, а зашли к тете Паше, где в этот вечер были и Агния Михайловна, и еще кое-кто из родственников, собравшиеся по какому-то случаю. Валечка все им рассказала, и надо полагать, что для многих из них это сообщение не оказалось новостью, так как кое-какие слухи о неверности Селюка были уже известны, да замалчивались.

И тут, пока все охали и ахали, вдруг, как ни в чем не бывало, является сам виновник пересудов, довольный, что наконец-то после трудов праведных снова видит свою дорогую женушку в окружении не менее дорогих ему людей. Оказывается, совещание в школе непредвиденно затянулось, закончилось недавно, он сразу же побежал домой и сразу догадался, что Валечка у тети Паши. Теперь вот он пришел сюда, застал всех в сборе, страшно рад и не прочь выпить чашку чая. Селюк бодро и весело говорил что-то еще, но все молчали и нехорошо улыбались, и он, наконец, остановился, в недоумении уставившись на присутствующих; те, в

свою очередь, не переставая улыбаться, с интересом рассматривали его. Валечка не стала продолжать эту комедию и все раскрыла, заявив, что будет лучше, если он сейчас же уйдет домой, а она останется ночевать у тети Паши. На следующий день произошло бурное объяснение, наметившее окончательный раскол в отношениях. Но он все же продолжал приходить домой, демонстративно не удостоивая вниманием другую сторону.

Однажды он не вернулся домой ни вечером, ни ночью, и Валечка не сомкнула глаз. А на другое утро пришел незнакомый человек и сообщил Валечке, что ее муж находится в морге; его, раздавленного поездом, нашли ночью на железнодорожных путях. Видимо, он был сильно искалечен, труп его лежал в закрытом гробу и его не показали даже близким. Его и похоронили прямо из морга. Причина его гибели осталась тайной; версии были разные, однако наиболее правдоподобной была все же версия несчастного случая.

Валечка осталась одна с сыном, тоже начала учительствовать. Так прошла пара лет, и вот однажды и совершенно случайно в ее жизнь вошел Юлий Густавович Грюнберг. Начало этому, было положено неожиданной встречей на улице с ее бывшей подругой по гимназии, которую она не видела много лет.

— О, Куликова, здравствуй!—обрадованно затараторила та.— Боже, сколько лет, сколько зим... Как поживаешь?

— Похвастаться нечем,—отвечала Валечка,—еще и жизни не видела, а уже вдова, к тому же с четырехлетним сыном.

И она вкратце поведала о своем неудачном замужестве.

— Да, не позавидуешь,—посочувствовала подруга и в свою очередь рассказала о том, что сама она вот уже несколько лет замужем за бывшим политкаторжанином. Муж хотя и старше ее на много лет, но живут хорошо.

— Слушай, Куликова! Хочешь, я познакомлю тебя с одним приятелем мужа, тоже бывшим политкаторжанином? — неожиданно предложила она.—Изумительный человек, преинтереснейшая личность. К тому же не стар и еще холост...

— Ну, что ж, познакомь,— так, без всякого энтузиазма, согласилась Валечка, чтобы не обижать подругу.

И они условились, что Валечка как-нибудь придет к ней в гости, а та позаботится, чтобы там непременно был и приятель ее мужа. Сначала Юлий Густавович ей не понравился: ничем не примечательное лицо, бородатый, да и лет порядочно—уже 38. Но в течение этого первого вечера, проведенного вместе, он очаровал ее своей интеллигентностью, утонченной и в то же время простой воспитанностью, умением вести интересный разговор, неназойливо ухаживать. И наша Валечка, попросту говоря, потеряв голову, влюбилась в него, если не с первого взгляда, так уж со второго точно. Они встретились еще несколько раз, познакомились поближе, и Юлий Густавович сделал Валечке предложение.

...Юлий Густавович был человеком незаурядной, интереснейшей биографии. Происходил он из семьи богатого прибалтийского купца колониальных товаров,

владельца нескольких судов. Отец его был эстонец, мать—латышка, так что детство и юношество Юлия Густавовича проходили в Ревеле, как в то время назывался Таллин. Учился он в местном институте, изучая экономику и коммерцию, но, увы, не оправдал надежд отца, и с первых же студенческих лет примкнул к революционному движению, став членом одного из марксистских кружков. Вскоре он стал профессиональным революционером, в 1902—1903 годах был тесно связан с Михаилом Ивановичем Калининым, находившимся тогда в Эстонии. Это известно мне не только по «фамильным преданиям», но и из документальной повести Даниила Руднева «Тихая окраина—о ревельских годах революционной деятельности М. И. Калинина, в которой упоминается и Юлиус Грюнберг.

В 1906 году Юлий Густавович был схвачен царской охранкой по обвинению в убийстве провокатора, судим и по совокупности с другими обвинениями в участии в революционных событиях 1905 года приговорен к смертной казни, которую впоследствии заменили пожизненной каторгой. Три года он отсидел в одиночке Александровского централа в Иркутске, а затем был сослан на вечное поселение в один из отдаленных районов Иркутской губернии. Отбывать наказание ему пришлось всего лишь около 12 лет, с приходом революции Юлий Густавович обрел свободу.

Вскоре он переехал в Читу, где был назначен управляющим торговой сетью в системе Внешторга, и здесь познакомился с Валечкой. До женитьбы он снимал небольшую комнату в частном доме, но сразу же после оформления брака получил большую трехкомнатную квартиру, куда и переехала молодая семья.

Юлий Густавович оказался и замечательным мужем, и хорошим отцом. Он сразу же официально усыновил Гаврика, дав ему не только фамилию и отчество, но и свою любовь. Прожили они в Чите около года, когда Юлий Густавович получил повышение по службе, и был направлен на работу в Харбин, где Валечка родила девочку, названную Еленой. А вскоре Юлий Густавович получил назначение на работу в советском торгпредстве в Японии и семья переехала в Токио.

Токийский период жизни семьи моей тетки был довольно продолжительным и мало известным нашей семье. С выездом Грюнбергов за границу связь между сестрами свелась к минимуму, ограничиваясь не очень частой перепиской. Немногие встречи сестер были возможны только во время редких отпусков, когда Грюнберги приезжали на родину.

В 1932 году Юлий Густавович был отозван из Японии в Москву, где ему предложили работу в Наркомате внешней торговли. На пути из Владивостока в Москву они остановились в Зилове, где мы в то время проживали. Юлий Густавович спешил, побыл у нас всего несколько дней и покатил дальше, а Валечка с детьми еще целый месяц жила в Зилове, пока Юлий Густавович не получил в Москве квартиру. Хотя я был тогда совсем маленьким, но хорошо помню, что мне навезли кучу заморских игрушек.

В 1936 году, за год до ареста отца, мы все втроем проводили отпуск в Москве и остановились, разумеется, у Грюнбергов. Они занимали одну очень большую комнату в старинном доме на Покровке, почти в самом центре Москвы.

Это было мое первое посещение Москвы, которое на всю жизнь оставило неизгладимое впечатление. Все было в диковинку—огромные дома, толпы людей на улицах, впервые увиденные трамваи, обилие автомашин, но, прежде всего, конечно, метрополитен, первая очередь которого недавно вошла в строй и чьи первые станции даже сегодня поражают великолепием. Думаю, что мои родители, особенно мама, были ошеломлены увиденным не меньше меня. Мы с утра до вечера бродили по Москве, стараясь за эти быстротекущие дни увидеть как можно больше, возвращались на Покровку обессиленными; ноги разламывались от усталости, а голова от впечатлений. Мои родители дали слово непременно продолжить знакомство с Москвой в следующий отпуск, благо есть где остановиться, да и билеты бесплатные. И мы непременно бы приехали сюда снова, да помешал этому «суший пустяк»—за это время отца расстреляли, мать сослали в Алжир, а меня определили в детдом. Так что ехать оказалось некому...

Юлия Густавовича арестовали в январе 1938 года. Если мой отец вообще ничего не подозревал и ему даже в голову не приходила мысль о самой возможности ареста, то Юлий Густавович последнее время перед арестом чувствовал что-то неладное.

Конечно, Москва не Чита, вся эта заварушка началась там раньше, да и сам Юлий Густавович, находясь ближе к верхам, больше знал и больше видел. К его удивлению, в различное время были арестованы несколько видных и ответственных работников Внешторга, которых он лично знал как людей с заслуженным революционным прошлым, уважаемых и безупречных со всех сторон. А когда он узнал о том, что пострадал кое-кто из его бывших коллег по работе в Японии, то удивление сменилось тревогой. Когда же эта участь постигла и кое-кого из бывших политкаторжан, вместе с ним отбывающих срок в царских застенках, в чистоте помыслов и поступков которых он был уверен, Юлий Густавович понял, что и над ним в любой момент может разразиться беда. Беда была страшна для него не как личная катастрофа, а как непостижимая, лишённая логики и смысла акция, совершаемая от имени того государства, за которое он боролся еще тогда, когда его еще не было, и о котором он мечтал, сидя в одиночке Александровского централа.

Впервые его уверенность оказалась поколебленной реальностью, которую он видел, а еще больше ощущал вокруг себя, и перед которой он был бессилён, ибо бороться было не с кем и не с чем — не было ни врага, в глаза которому он привык смотреть смело; не было и лозунгов, обуславливающих необходимость борьбы, а провозглашаемые лозунги были так же революционно безупречны и полностью соответствовали марксистско-ленинским позициям.

Вполне вероятно, что все эти думы, разрывающие душу, могли донельзя расшатать нервную систему, а может быть, начали сказываться последствия двенадцатилетней сибирской каторги, но в сентябре 1937 года Юлий Густавович тяжело заболел и был положен в Боткинскую больницу с диагнозом кровоизлияния в мозг и частичного паралича. Он находился в больнице около трех месяцев, а когда наступило относительное улучшение, Валечке разрешили взять его домой при условии соблюдения полного постельного режима. Впрочем, об этом можно было и не предупреждать, так как конечности все еще были во власти паралича— Юлий Густавович еле держался на ногах и с трудом удерживал чашку.

За ним пришли в ночь с 13 на 14 января 1938 года, как раз тогда, когда отмечается Новый год по старому стилю. Как обычно, он лежал в постели, дома были Валентина Николаевна и Леночка (Гаврик в то время учился в Ленинградском судостроительном институте). Стол еще не был убран от новогоднего ужина. В углу светилась свечками небольшая нарядная елочка, установленная еще под 1 января; и это было довольно смело, поскольку в то время устраивать новогодние елочки все еще считалось буржуазным предрассудком и всячески порицалось. Помню, что когда мои родители все-таки хотели по старинке устроить для меня новогоднюю елочку, благо что от старых времен остался целый ящик прекрасных елочных игрушек и украшений, то я со слезами на глазах умолял их не делать этого и всячески протестовал против такого «буржуйства», как нам это внушалось в школе.

Двое штатских представились сотрудниками НКВД, предъявили ордера на обыск и на арест Юлия Густавовича. Но, увидев, что тот, за которым они пожаловали, лежит в кровати с явными признаками болезни, они несколько растерялись, тем более, что Валечка начала взывать к их совести и состраданию. Но приказ есть приказ, а они были исполнительные и дисциплинированные стражи правопорядка. Валечкины призывы не возымели ожидаемого эффекта. Они принялись за свое дело, начав с описи вещей, лично принадлежавших Юлию Густавовичу, которые сразу же укладывали в два больших чемодана. В основном это была одежда, в том числе элегантные фрак и смокинг, в которых он когда-то представлял свою страну на дипломатических приемах и в деловых кругах Японии.

Пока сотрудники занимались обыском, Валечка собирала мужа, и когда обе стороны закончили свое дело, сотрудники подхватили Юлию Густавовича под руки и повели по длинному коридору к выходу, Валечка шла следом и несла чемоданчик. Шли медленно, так как Юлий Густавович еле передвигал ноги, и многие обитатели дома, чьи двери с обеих сторон выходили в коридор, привлеченные шумом, испуганно смотрели на эту странную процессию. А из полураскрытых дверей доносились веселая патефонная музыка, песни, хмельной говор застолий.

На следующий день многие из соседей и те близкие подруги, которым Валечка позвонила по телефону, пришли к ней со словами утешения и советами, и тут произошло событие, настолько неправдоподобное и анекдотичное, что в него трудно поверить. Где-то под вечер, когда Валечка после беготни по Москве в поисках правды, вконец обессиленная, вернулась домой, неожиданно явились двое в штатском. Они отрекомендовались сотрудниками НКВД и спросили, здесь ли проживает Грюнберг Юлий Густавович, и где он сейчас.

— Господи, что вам еще нужно? — почти истерично выкрикнула Валечка, устремив на них негодующий взгляд.— Если вам нужна я, его жена, то можете меня забирать, а где мой муж сейчас, то это лучше известно вам, чем мне...

— Успокойтесь, гражданочка, и не кричите,—сурово произнес один из них, всем своим видом и тоном показывая, что кричать на них просто нельзя.

— Мы находимся при исполнении служебных обязанностей. В соответствии с имеющимися документами мы должны произвести обыск и арестовать вашего мужа, коль скоро вы назвали его женой. А всех посторонних прошу удалиться,—добавил он, обращаясь к соседкам.

— Да вы с ума сошли! — вновь в недозволенном тоне вскричала Валечка.— Ведь его арестовали и увели этой ночью!

Сотрудники были явно смущены и недоуменно переглянулись. А тут и соседи, решив помочь истине, снова протиснулись в комнату и наперебой стали уверять, что да, действительно, Юлия Густавовича увели вчера ночью, что они сами это видели, когда его вели по коридору. Они делали это с явным старанием, перебивая друг друга, убежденные, что оказывают неоценимую услугу и Валечке, и представителям власти.

—Хорошо, проверим и разберемся,—произнес, наконец, все тот же сотрудник и добавил, обращаясь к Валечке.— А вас я попрошу никуда не выходить из квартиры. Возможно, мы вернемся...

С этими словами они и ушли, повергнув Валечку в недоумение. Господи, если эти пришли арестовывать сегодня, то кто же были те, что увели Юлию Густавовича вчера? А вдруг тут что-то не так? И она, совершенно не думая о «никуда не выходить», тотчас же бросилась по инстанциям, нужным и ненужным, и только уже на следующий день ей точно удалось узнать, что произошло недоразумение, что те—вторые—просто вовремя не были поставлены в известность о том, что ее муж уже арестован.

Я думаю, этот беспрецедентный случай ярко свидетельствует о том, как тяжела и напряженна была работа у бедных сотрудников НКВД, и остается только посочувствовать им.

Здесь же Валечка узнала, что муж ее содержится в Бутырке, куда она может пойти и узнать о правилах передачи. И Валечка, как и моя мама в свое время, ходила туда несколько месяцев, носила передачи, меняла белье и безуспешно пыталась узнать что-нибудь о дальнейшей судьбе мужа, живя только мрачными слухами. Так она ходила до апреля 1938 года, пока в один «прекрасный» вечер к ней не пожаловал сотрудник НКВД, но на этот раз уже не по ошибке, а за ней самой. В осиротевшей квартире на Покровке осталась одна Леночка, ей было тогда 15 лет и училась она в восьмом классе. Ее почему-то сразу не забрали, как меня. Наверное, опять вышла какая-то промашка — город большой, работы энного, за всем не уследишь. Но через пару месяцев за ней все-таки пришли — лучше поздно, чем никогда.

Однако к этому времени Леночка, бросив учебу, работала в одном учреждении делопроизводителем. К этому же времени и ее брат Гаврик, закончив два курса Ленинградского института, прервал учебу, приехал в Москву в разоренный дом и стал подрабатывать репетиторством. И когда за Леночкой пришли, то, уже не найдя формальных причин для детдома, ее оставили в покое.

А Валечка тем временем проходила все положенные по ритуалу этапы, что когда-то прошла моя мама в своем читинском варианте, и однажды ей и другим Многочисленным обитательницам Бутырки (тюрьма большая, места хватило и для жен) объявили о судьбах мужей. Так она узнала, что ее Юлий Густавович оказался врагом народа и изменником родины и за свои преступления приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Уже гораздо позднее, в пятидесятых годах после смерти Сталина, когда волны репрессий сменились волнами реабилитаций, Валечка

с удивлением узнала, что, оказывается, смертный приговор Юлию Густавовичу был позже заменен пятнадцатью годами лишения свободы с отбыванием срока заключения в лагере особого режима, где он якобы и умер от воспаления легких в 1944 году. Но тогда она этого не знала. и многие годы с великой горечью и скорбью отпевала своего еще живого многострадального мужа.

Вскоре Валечке сообщили о приговоре в отношении ее самой, и судьбе было угодно распорядиться столь удивительным образом, что из сотен, а может быть, и тысяч таких лагерей (кто знает, сколько их было тогда в России!) осенью 1938 года она была направлена отбывать свои восемь лет в тот, где уже около года обитала ее родная сестра...

...Наговорились, наплакались сестры досыта и уже размечтались, как теперь заживут вместе, да быть вместе не пришлось. Валечку, как и всю партию, с которой она прибыла, на следующий же день отправили на полевой стан — было и такое подразделение лагеря километрах в пятнадцати от зоны. Там были поля зерновых культур — пшеница, рожь, овес, которые «от и до» обрабатывались заключенными, постоянно живущими в своем огороженном колючей проволокой так называемом полевом стане.

Вообще хозяйство при Алжире было довольно многоплановым, и среди других сельскохозяйственных подразделений была, например, и животноводческая ферма, где содержалось большое стадо коров. Бывшие жены, еще недавно с трудом отличавшие быка от коровы и шарахавшиеся за сто метров от всего, что могло мычать и бодаться, за короткое время так освоили профессии доярок и скотниц, что их подопечные в благодарность за хороший уход давали до 30 литров молока в сутки. Труднее оказалось с замещением вакансии техника-осеменатора. Лагерное начальство, перебрав не один десяток кандидаток на эту совсем не женскую должность, наконец остановилось на Мярии Игнаткиной—молодой женщине из Читы. Об этой женщине я расскажу подробнее в следующих главах, а пока ограничусь лишь рамками ее назначения на эту необычную ответственную работу» призванную обеспечивать приплод и чистоту породы вверенного ей стада.

Как ни плакала она, как ни умоляла не ставить ее на это дело,—ничего не помогло. А так как профессия техника-осеменатора требовала определенных знаний, коими она, конечно, не обладала, то ей и другим женщинам, поставленным на более или менее сложные профессии, была предоставлена возможность специального обучения в учебном комбинате—было и такое подразделение в системе Карлага, которое размещалось в Акмолинске. Стоит ли говорить, что недостатка в опытных и квалифицированных преподавателях в этом учебном комбинате никогда не было, ибо система надежно обеспечивала непрерывный и неиссякаемый приток любых специалистов самого высокого уровня, так что лекции по теории и практике осеменения крупного рогатого скота Марии Игнаткиной читал один весьма известный профессор из Ленинграда, отнюдь не по своей воле сменивший кафедру университета на учебный комбинат Карлага...

...Прямо скажем, Валечке не повезло—условия жизни на полевом стане были намного хуже, чем в основной зоне: и кормили здесь не так, и работа была изнурительней, и вообще порядка меньше. Особенно тяжело было в летнюю пору, когда остаешься посреди бескрайнего поля наедине с немилосердно палящим солнцем, где нет ни одного деревца, чтобы хоть ненадолго укрыться в тени. А

зачастую не было и воды, чтобы утолить жажду. Пищеблок здесь был довольно примитивным, в страдную пору давали сухой паек. Недостаток питания многие восполняли тем, что выращивали: вылущивали колоски пшеницы и ели зерна когда сырые, когда поджаренные на листе железа, когда сваренные в консервной банке. Валечка пробыла на полевом стане около двух лет, и рак пищевода, от которого она умерла много лет спустя, пожалуй, мог начаться именно отсюда.

Мама тем временем продолжала трудиться на своем огородном поле. Еще со времени строительства швейной фабрики, где она отличилась на кладке стен и даже была удостоена похвалы приезжего начальства, она продолжала числиться передовиком производства, и однажды ей предложили работать раздатчицей в лагерном пищеблоке.

По лагерным меркам, это уже была престижная работа, по крайней мере, она полностью снимала проблему питания. Появилась возможность подкормить немножко Настеньку и других близких подруг. Иногда удавалось помочь и Валечке, когда на полевой стан отправлялась какая-нибудь очередная оказия. Мама передавала ей свой дневной паек хлеба и, если была возможность, то и еще что-нибудь. А вскоре маму поставили помощником повара на так называемую итээровскую плиту, где готовилась пища для ИТР лагеря, тоже заключенных, но занимающих руководящие должности, и для ударников, перевыполняющих дневные нормы и получающих за это традиционное «премблюда»— пирожок или пару блинчиков.

За какие-то первые два года пребывания в Алжире среди заключенных мало-помалу образовалась некая привилегированная каста, которая не только лучше питалась, но пользовалась и другими привилегиями. Правда, кастовость эта создавалась не по принципу социального положения «бывших»— кем был муж или кем была жена. А были здесь очень разные люди и некоторые даже из «самых-самых». Одна такая дама из маминого барака любила вспоминать свою бывшую жизнь, когда она и ее ныне расстрелянный муж вращались в высшем московском свете. В подтверждение достоверности своего бывшего величия она сообщала слушательницам разные интимные подробности, которые простым смертным не дано было знать и которые, по ее мнению, исключали всякую возможность сомнения в правдивости ее рассказов. От нее, например, мама услышала, что Сталин (эта дама, явно переигрывая, фамильярно называла его Иоськой) всем блюдам предпочитал русские щи и гречневую кашу; Буденный на вечеринках (куда, естественно, хаживала и эта дама) лихо и без усталости отплясывал; Молотов был хроническим алкоголиком. Наши женщины со страхом слушали эти и другие «крамольные» рассказы, искренне удивляясь, как это столь знатная дама валяется вместе с ними на тех же нарах, да к тому же получает всего лишь 400 граммов хлеба в день. А та просто не хотела, да и не умела работать, отплясывать здесь было не с кем, и хлеба за это не давали. Но жила она не хуже других за счет богатых посылок, которые щедро шли по каналам, еще оставшимся от прежней жизни. Свои рассказы она часто заканчивала риторическим вопросом, смысл которого сводился к тому, что она-де хоть пожила по-настоящему и теперь вот расплачивается, а вот вы-то, не видевшие жизни, за что здесь страдаете?

Да уж спросите что-нибудь полегче, как теперь говорят.

Но, однако, не такие дамы составляли местную элиту. Здесь ценились женщины, которые сами что-то стоили, умели работать сами и организовать работу других. Им и отдавались привилегии. Такие категории заключенных, как руководители швейной фабрики, агрономы, врачи, заведующая пищеблоком, прачечной и обедали за отдельным столом. И жили они не в общих бараках, а в - небольших домиках внутри зоны, каждая в отдельной маленькой комнатке. Пользовались некоторыми привилегиями и те немногие женщины-матери, которые? были завезены в Алжир с грудными детьми. Им предоставили отдельный домик на территории зоны, где они жили в комнатах по два-три человека, получая на детей дополнительное спецпитание—молоко, манную крупу и еще кое-что по мелочам.

На «итээровской плите» мама проработала месяца три, частенько принося Настеньке блинчики с ИТР-овского стола. Это было нетрудно делать, так как блинчики легко и удобно прикреплялись к ногам чуть повыше колен. А потом ее назначили старшей раздатчицей. В ее распоряжении были еще три раздатчицы, а обязанности в основном сводились к тому, чтобы, принимать от поваров котлы с готовой пищей, передавать их на раздачу и следить за тем, чтобы заключенным выдавалась положенная норма. Работа была достаточно проста, однако и здесь могли быть неприятности. Как-то к концу ужина, когда раздатчицы докармливали последнюю партию, мама вдруг обнаружила котел, полный тушеной капустой, который по оплошности не заметила и не выдала на раздачу. Это уже было почти ЧП! Ведь этот факт можно расценивать как умышленное сокрытие в корыстных целях. Котел пищи можно было легко вынести из пищеблока. Вероятность преступления налицо. Попробуй докажи, что это оплошность.

Мама страшно испугалась, но скрывать ничего не стала, побежала к заведующей и все ей рассказала. Та немного пошумела, но предложила всем молчать. Котел оставили до утра, а во время завтрака в каждую порцию каши положили еще и по ложечке тушеной капусты. Сочетание было редкостное, кое у кого вызвало удивление, но нареканий, само собой, не последовало.

При столовой всегда работали помощницы, занимающиеся топкой печей, подносной воды, чисткой овощей, мытьем посуды и чисткой котлов. Обычно они периодически менялись, но в столовой раз и навсегда был установлен неписанный закон, олицетворяющий лагерную солидарность—котлы до конца не выскребать, и раздатчицы неукоснительно это выполняли, оставляя вместе с очевидно пригоревшей коркой и немного съедобных остатков, которые шли в пользу тех, кто чистил котлы и помогал на кухне.

В общем, жизнь вошла в наезженную колею, монотонно тащились по ней дни, месяцы, годы, которые были длиннее тех, что остались за зоной. Наверное, как говорила мама, это был все-таки хороший лагерь, и, худо-бедно, жить там было можно. И жить было нужно, хотя бы ради детей, наперекор жестокой судьбе. Но уже меньше и меньше винули обитательницы Алжира в своем несчастье эту пресловутую судьбу, на которую принято валить все шишки, и все чаще задумывались о тех, кто, прикрываясь высокими фразами, от имени народа так безжалостно и жестоко попирает человеческие судьбы.

Надежды на то, что там, наверху, наконец опомнятся и исправят допущенную несправедливость хотя бы по отношению к ним и к их детям (мужей уже не вернешь), исчезли окончательно, тем более, что время от времени в лагерь

продолжали поступать небольшими партиями новые заключенные все по той же статье. Репрессивный конвейер продолжал работать.

Стало вполне очевидно, что начатый процесс не только продолжается, но находится в каком-то постоянном и управляемом движении. Кто-то где-то наверху думал, планировал, принимал решения, время от времени дергал соответствующие ниточки, в лагерь прибывали новые поселенцы, но и вывозились старожилы, и в результате все время сохранялся как бы постоянный коэффициент заполнения. Если вдруг начинали отправлять куда-то партию за партией, освобождая барак, то всем становилось ясно, что ожидается новое пополнение. И действительно, после последней партии уже на следующий день завозят новых и ровно столько, чтобы восстановить status quo. Система работала четко, и эти довольно частые перемещения все время держали в страхе обитательниц Алжира.

Мама и Настенька боялись, что их разлучат, но этого, к счастью, не произошло, и, установив в конце концов некую закономерность этих перемещений, они даже успокоились — вывозили в основном тех, кто имел малые сроки заключения, а оставляли и привозили тех, кому срок был отмерен на всю катушку.

Осенью 1939 года мама неожиданно получила первое и очень короткое письмо от бабушки, которая наконец ее разыскала. Это было великим событием. А в следующем письме по получении ответа от мамы, которой к тому времени разрешили посылать не более одного письма в месяц, бабушка уже подробней сообщила и о своем житье-бытье, и о том, что разыскала меня, и о том, что из этого получилось. Но об этом речь впереди...

ГЛАВА 8

По ступенькам которой я опускался все ниже и ниже, но вмешалась бабушка и нарушила естественный ход событий...

Я, в общем-то, не знаю, каким должен быть настоящий, отвечающий своему назначению, детский дом, хотя и имею опыт пребывания в них. За всю мою жизнь мне, конечно, приходилось иногда по телевизору, иногда в прессе что-нибудь увидеть-прочитать на эту тему; в таких случаях обычно рассказывают либо об очень плохих, либо об очень хороших, детдомах. Но даже самый худший из них нельзя сравнить с тем, куда я попал в конце 1937 года.

Читатель сможет убедиться в том, что моя память четко держит имена, фамилии, детали быта и другие подробности, связанные с моим пребыванием в детдоме; но что я совершенно не помню, так это взрослый аппарат детдома. Совершенно ясно, что он существовал, ведь кто-то должен был кормить, одевать, учить, воспитывать своих подопечных и поддерживать установленный порядок. Но

я не помню ни одного конкретного образа своих наставников, ни одного факта, связанного хотя бы с их обезличенным присутствием.

Что касается воспитания и порядка, то ни воспитатели, ни заведующий детдомом (я даже не помню, кто был этот заведующий—мужчина или женщина) не играли здесь никакой роли, и полномостным хозяином детдома, законодателем его внутренней жизни и вершителем судеб его обитателей был атаман Миндзян Нагуманов.

Я и сейчас, описывая события тех далеких лет, с невольным содроганием вспоминаю эту страшную для всех нас личность; это был наш царь и бог, а до отца не дотягивал по малолетству, ибо было ему лет пятнадцать-шестнадцать.

До нашего поступления в детдом в нем находилось примерно 60—70 детей разного возраста от 8 до 16 лет. Это были настоящие сироты, в основном бывшие беспризорники, многие из них находились здесь уже несколько лет и другого дома не знали. Много было татар и, очевидно, не без причинной связи с этим фактом рядом с детским домом располагалась обширная по территории слободка, сплошь населенная татарами, с ее маленькими, вросшими в землю глинобитными домиками, выкрашенными известью в белый цвет.

Воспитанники детдома в основной своей массе были детьми неразвитыми и крайне испорченными как всей своей прежней жизнью, так и той блатной атмосферой, которая здесь царила. Здесь были и мальчики, и девочки, хотя девочек было значительно меньше.

Размещался детдом в большом двухэтажном деревянном доме. Своего отгороженного двора для игр детдом не имел, находясь впритык с такими же серыми и унылыми жилыми домами. За все время своего пребывания там я не видел, чтобы кто-нибудь из детдомовцев занимался спортом или хотя бы интересовался им. Даже футбол, коньки или лыжи были здесь неведомы.

В доме кроме спальных комнат размещалась кухня» столовая и различные служебные помещения; столовая вне обеденного времени служила также комнатой для выполнения школьных домашних заданий.

Считалось, что все учатся—с первого до восьмого класса—но на самом деле некоторая часть детдомовцев вообще не ходила в школу или посещала ее время от времени. Многие сидели в одном классе по два года, некоторые ухитрялись даже по три, и по возрасту трудно было определить, кто в каком классе учится. В пятом классе, куда определили меня для продолжения прерванной учебы, вместе со мной сидели еще четыре детдомовца, и каждый из них был старше меня на 3—4 года.

Нас было восемь—три мальчика и пять девочек— восемь «белых ворон», загнанных случайным ветром явно не в ту стаю. Все тут было не так, как в нашей прежней жизни, и сначала мы и морально и физически были раздавлены всем окружающим. Но дети поддаются влиянию легко и ассимилируются значительно быстрее взрослых. И потому одни раньше, другие позже— все мы так или иначе постепенно влились в новый коллектив, в новый образ жизни, стали менее «белыми», растворяясь в том, что нам было предложено.

Всех восьмерых я помню так, как будто это было вчера.

Самым старшим был Иван Дедюшин, парень лет шестнадцати, рослый и сильный. Он еще в читинском распределителе выделялся из общей массы, пугая нас невоспитанностью, агрессивностью и хулиганскими выходками, которые для многих из нас были в диковинку. Между прочим, в той истории с пистолетом, произошедшей в поезде, больше всех подозревался он, и вполне возможно, что это и на самом деле был он.

Дедюше, как его сразу же здесь окрестили, ибо каждый детдомовец имел кличку, не понадобилось долго перестраиваться на новый лад, вскоре он стал вполне своим и влился в группу лидеров при атамане, став его правой рукой.

Другой мальчик—Борис Сорокин, года на два старше меня, прибыл, сюда вместе со своей младшей сестрой Наташей. Это были дети из хорошей семьи, оба белокурые и очень красивые. Позже от мамы я узнал, что их мать тоже находилась в Алжире и отличалась статью, бросающейся в глаза.

Борис, теперь уже просто «Сорока», был мальчик мягкий и податливый, очень скоро подпал под влияние Дедюши, и это привело впоследствии к трагической развязке, о которой я расскажу позже. Из девочек в нашей группе были еще Тамара Репина, тоже чуть постарше меня, две сестры—близнецы Вера и Надежда Рагозины, лет девяти, все время державшиеся вместе и так похожие друг на друга, что их никто не мог различить. Была еще одна девочка, почти девушка лет четырнадцати-пятнадцати, и звали ее Фрося, она была очень худая, высокая, и ей сразу дали кличку Дылда. Я думаю, что она была серьезно больна, так как с ней иногда случались припадки.

И, наконец, я сам, младший из мальчиков и, пожалуй, самая «белая ворона». Всем своим воспитанием и прежним образом жизни я являл собою типичного маменькина сынка, явного антипода-той реальности, в которой очутился. По этой причине я сразу же стал изгоем, над которым каждый, кто был сильнее и бойчее, мог в досталь издеваться; ну, а об атамане и говорить не приходится—тот мог сделать из меня все что угодно, как, впрочем, почти из всех остальных.

Личность атамана заслуживает знакомства более подробно. Миндзян Нагуманов по национальности был татарин и лет ему было примерно пятнадцать. Это был приземистый, довольно сильный крепыш. Культ силы играл в детдомовской жизни немаловажную роль, но авторитет нашего атамана определялся не столько его физической силой, были ребята и покрепче, сколько ореолом легенды о какой-то таинственной славе в том блатном мире, из которого он пришел в детдом и где он якобы был далеко не последним «уркой».

Считалось, что он и ныне поддерживает связь с одним «паханом», который орудует с бандой в окрестностях Магнитогорска. Существование этой связи время от времени демонстрировалось самим атаманом—он вдруг незаметно на двое-трое суток исчезал из детдома, а когда возвращался, то был при деньгах, что-то не договаривал и, всячески намекая на тайну, загадочно ухмылялся.

Все это еще более убеждало в том, что атаман имеет руку в блатном мире, что у него есть своя «хаза» и с ним «фраериться» не стоит, тем более что за него

стоит «пахан», который за своего «кореза» всегда сумеет «сунуть перо под кожу»; к тому же все знали и даже видели у атамана и «перо», и даже «пушку», которую он прятал где-то в укромном месте. Я знал и другие легенды об атамане, но, думаю, большинство из них были выдумки, им самим поддерживаемые. Как бы там ни было, но авторитет его был настолько велик, что он всех буквально подмял под себя, превратив детдом в свою собственную блатную «малину». Я думаю, что и воспитатели боялись Нагуманова, старались не замечать его атаманства и, следуя принципу «от греха подальше», способствовали вседозволенности и безнаказанности, так что этот жестокий и нравственно ущербный юнец использовал предоставленные ему условия без всяких ограничений.

Мы были несколько обособлены от девочек, занимавших комнаты одной половины первого этажа. Весь второй этаж занимали мальчики, и девочки старались без нужды не заходить на наш этаж. Поэтому практически весь диктат атамана распространялся только на нашу «мужскую» половину. Девочки замыкались в своем кругу—очевидно, с ними-то и проводили время наши воспитатели, чья служебная комната также была внизу.

Подняться лишний раз на второй этаж и посмотреть, что там творится, у воспитателей не хватало духу—там правил атаман. Правил он не один, а с группой своих приближенных, четырех парней примерно одного с ним возраста, в меру испорченных, но, конечно, вне сравнения с атаманом—тот был, как говорится, дальше некуда. Видно, крепко мне досталось от них за недолгий срок пребывания в этом детдоме, если я до сих пор помню их имена и фамилии: Фат Мухамедзянов, Халим Закиров, Борис Рахимов и Шурка Торшин, среди приближенных атамана единственный русский и, к тому же, самый безвредный и самый сильный в детдоме. Наверное, поэтому он и был приближен.

После нашего появления в детдоме к этой четверке примкнул и Дедюша.

Первые издевательства по отношению к новеньким носили «политический» характер. Все коренные детдомовцы уже знали, кто мы такие, и потому любой сопляк, не говоря уже об атамане, считал своим долгом при обращении к нам употреблять выражения вроде «троцкист проклятый». Так продолжалось до тех пор, пока «троцкист проклятый» Дедюша не повыбивал зубы у двух-трех зубоскалов, и даже вмешательство самого атамана не прекратило его расправы. Дедюша просто еще не знал о заслугах атамана, не знал о том, что его нужно бояться и, не взирая на лица, дубасил всех подряд, кто вдавался в «политические дискуссии» не только с ним, но и с каждым из нас, проявляя тем самым если не осознанную, но все же «классовую» солидарность. Атаман, видно, перепугался не на шутку и за свою физиономию, и за авторитет и мудро решил усмирить Дедюшу приближением к себе. С ним пару раз распили бутылку, переселили в комнату атамана, и его подручные заинтересовали Дедюшу возможностями, открывающимися перед ним от такого союза,—и новый вассал укрепил могущество атамана. Вместе с этим постепенно прекратился и наш «троцкизм», да и надоело уже всем это не очень понятное слово, хотелось как-нибудь по-другому, более изобретательно донять нас, более смешно, так сказать, пошутить, как это было принято здесь еще задолго до нашего появления.

Вообще, когда Дедюша был при власти, мне, да и Сороке, было намного легче, так как иногда он по старой памяти заступался за нас и отводил какую-

нибудь очередную пакость, замышляемую атаманом и его подручными. Но бывало, что и сам он не менее изобретательно и жестоко участвовал вместе с ними. Здесь все любили издеваться друг над другом, издеваться грубо и мерзко, но как-то без всякой злобы, в виде шутки, ради забавы и не только надо мною, хотя я был объектом номер один. Жестокость вообще свойственна детям, а здесь, у детей обделенных, воспитанных на дурных примерах, жестокость, подогреваемая Активным участием самого атамана, была настоящей всеохватной заразой. Те, кто сегодня вместе с атаманом готовили какую-нибудь пакость, скажем «балалайку» или «велосипед», другим, или просто с явным интересом и одобрением смотрели, как это делается, а потом вместе со всеми заливались громким хохотом, видя результаты, завтра сами могли стать жертвами этих шуток.

Я прошел через все это, разумеется с пострадавшей стороны, и знаю, как это делается. Допустим, сегодня вечером они, сговорившись, решили повеселиться и устроить Испанцу «балалайку». Испанец—это, между прочим, моя кличка, данная за то, что я привез в детдом и носил иногда испанскую шапочку, вроде нашей пилотки, но чуть другой формы, с кисточкой впереди (в этой шапочке я был в пионерском лагере, и бабушка зачем-то сунула ее в мой чемоданчик). Обычно такие развлечения устраиваются поздно вечером, а то и посреди ночи, когда все, не занятые в развлечении, крепко спят, в том числе и ничего не подозревающий Испанец. Шутники тихонько подходят к его кровати и кто-нибудь осторожно просовывает между пальцами его руки, а иногда и двух рук, узкие бумажные ленточки, смазанные клеем. Стоят вокруг кровати спящего Испанца и все с радостным волнением наблюдают и ждут, когда кто-нибудь, обычно атаман или один из его сподручных, подожжет ленточки. Огонь подбирается до пальцев Испанца—жгучая и неожиданная боль! Испанец просыпается, ничего не может понять, видит объятую огнем руку, с воплем вскакивает и, чтобы потушить или скинуть горящие бумажки, начинает трясти кисть, словно играя на балалайке. Но бумажка приклеилась и не отлетает, и потому развлечение длится еще некоторое время. Испанец продолжает «играть», а с десятков счастливых негодяев заливаются хохотом. Тут от хохота, шума и диких криков Испанца просыпаются остальные обитатели комнаты, кое-кто прибегает из других комнат.

— Что тут у вас, пацаны?—заинтересованно спрашивают у тех, кто еще не отошел от смеха.

— Да вот устроили Испанцу «балалайку».

— Ну и как? — интересуются те, кто, к сожалению, не видел этого.

— Будь спок, бацал что надо, обделаться можно от смеха,—весело информируют устроители и зрители забавы и, перебивая друг друга, подробно рассказывают, как Испанец вскочил, какой у него был при этом вид, как он «бацал по струнам», еще, умора, подпрыгивал, будто приплясывал—все это было почище, чем тогда с Кулбыней.

А Испанец в это время стоит в стороне, с глазами, полными слез, и от боли все еще машет рукой, а недавние мучители предлагают ему с участием и дружеским вниманием помочиться на полотенце и приложить к руке — враз все пройдет.

— Слышь, пацаны, айда сделаем «балалайку» Плешивому, он крепко спит, — подает кто-то свежую мысль, ее встречают одобрением, и в желании продлить ночное развлечение все устремляются в другую комнату, но уже тихонько, без шума, чтобы не разбудить очередную жертву, к которой никто не испытывает никакой неприязни, а хотят только пошутить, и если бы предшественником был кто-нибудь другой, а не Испанец, то и он бы тоже побежал посмотреть, как Плешивый будет играть на балалайке. Занятно, не правда ли?

Катался я и на «велосипеде». Это развлечение почти такое же, только бумажки вкладывают между пальцами обеих ног. Вся трудность тут состоит в том, чтобы «велосипедист» не проснулся при подготовительной операции. Если же он проснется, то атаман может вклеить ему между глаз за сорванное развлечение, и все разочарованно, но с надеждой идут к другому потенциальному «велосипедисту», не ними заодно тот, не состоявшийся, и когда повторный «заезд», наконец, удаётся и «велосипедист» жмет на все педали, кругом довольно хохочут, утешают «спортсмена». Только потом, нахохотавшись, расходятся по своим кроватям досыпать хорошо проведенную ночь.

Были и более изуверские шутки. Одну из них я тоже испытал на себе. Как-то я приболел, лежал в постели, и мне, как больному, сам атаман в сопровождении своей свиты, принес ужин—тарелку традиционной гороховой каши и стакан чая. Честь была, конечно, превеликая. Съев кашу, я принялся за чай, отхлебнул глоток... и меня тут же замутило и вывернуло наизнанку, это была моча! Меня рвало, стакан опрокинулся и залил постель, а наглые рожи ржали, довольные своей шуткой, и громче всех, заражая весельем других, гоготал атаман.

Иногда шутки проделывались и с девочками. Как-то глубокой ночью, но уже ближе к утру, атаман и несколько мобилизованных им пакостников тихонько пробрались в комнату к девочкам, подняли кровать со спящей Дылдой и осторожно перенесли ее в одну из спален мальчиков. Весь эффект был рассчитан на ее пробуждение. Утром, когда нас будили громким звонком, ничего не подозревающая Дылда проснулась и совершенно машинально, еще ничего не понимая со сна, поднялась и начала искать одежду и вдруг увидела себя в окружении заливающих смехом пацанов, страшно испугалась, закричала, выскочила из комнаты, бросилась к себе и забилась там в истерике. А наверху еще долго стоял громкий хохот. Были и другие, еще более пакостные проделки с девочками, но об этом лучше промолчать.

Так мы входили в новый образ жизни в этой «малине» под вывеской детского дома. Жаловаться, разумеется, никто не смел, мы видели полнейшую безнаказанность и вседозволенность атамана и просто молча терпели. Иногда мы даже испытывали к нему благодарность, если, скажем, он хотя бы на неделю оставлял нас в покое. Так воспитывались покорность и смирение, трусость и раболепие, так торжествующе утверждался культ силы и власти. В этом была какая-то параллель со взрослым миром, где нечто подобное происходило в более крупных масштабах.

Но если бы мы только иногда «играли на балалайке», «ездили на велосипеде» или случайно выпивали не то... Детдом жил еще и другой, более страшной жизнью. Не для красного словца я уже несколько раз употребил слово «малина», что в переводе на нормальный русский означает воровской притон.

Детдом не только развлекался, детдом еще и работал. Эта работа велась в основном в трех направлениях. Самая малочисленная группа ребят постарше «брала углы на майдане», то есть воровала чемоданы на вокзале у зазевавшихся пассажиров. Такое случалось не часто, но когда «угол» брался и приносился в детдом, то это было волнующее событие. Никто из «майданщиков» не имел права вскрывать чемодан в пути, и этот пока еще кот в мешке, в чем и была изюминка, торжественно ставился пред ясны очи атамана. В окружении самих исполнителей и приближенных атаман не спеша вскрывал чемодан, медленно поднимал крышку и, не торопясь, извлекал из чемодана на всеобщее обозрение одну вещь за другой. Этот ритуал сопровождался криками восторга, возгласами разочарования или громким смехом. Затем по каким-то неведомым мне законам добыча делилась, и лучшее всегда доставалось атаману.

Другую более многочисленную группу составляли те, кто «принимал висячки от штампа», то есть срезал дамские сумочки с рук их обладательниц или вообще любым способом изымал любые сумки. Эти работали в основном на рынках, в магазинах, кинотеатрах, там, где неизбежны скопления людей и толкучка.

Самым «клевым» местом был, конечно, зоопарк. По «висячкам» всех ловчее и удачливее был Петька Пивовар, парень лет тринадцати-четырнадцати; этот уж если отправлялся на дело, пустым не приходил. Работали обычно вдвоем, с напарником. От напарника особой квалификации не требовалось, на худой конец мог сгодиться и Испанец. Пивовар с напарником сутра отправлялись в зверинец, покупали билеты, глазели на зверей и одновременно высматривали дамочек с сумочками, внушающими доверие. И вот чем был хорош Пивовар, — он никогда не ошибался в выборе и никогда не ловился на одну помаду с пудрой, как другие. У него был наметанный глаз и верное чутье. Наметив сумочку, наша пара с поразительным совпадением интересовалась теперь только теми зверями, что и обладательница сумочки. Финал обычно не заходил дальше клеток с обезьянами. Здесь всегда давка и толкотня, стоят подолгу и от души умиляются своими предками. И пока с левой стороны от дамы какой-то пацан с детской непосредственностью пробивается ближе к клетке, отчаянно толкаясь, острейшая бритва с правой стороны обрезает ремешки сумочки. И только через некоторое время, измеряемое пристрастием к приматам, дамочка обнаруживает, что на руке ее висят лишь одни ремешки. Через пару часов эта сумочка с интересом исследуется уже у атамана, рядом стоят довольные герои дня Пивовар и тот, кто мог быть и Испанцем.

Самую многочисленную группу представляли обыкновенные карманники. Здесь все считали себя способными на это, вроде бы простое ремесло, но частенько в нем ошибались и дважды бывали битыми—один раз теми, в чей карман неудачно запускали руку, в другой раз атаманом. Тот строго следил, чтобы всякая шантрапа, не обученная искусству, на дело не ходила, дабы не засыпаться и не навести «лягавых». Дилетантам разрешалось работать лишь в паре со специалистами и стоять на «шухере». Одним из таких специалистов по карманному делу был некто Кобзя, парень лет тринадцати, известный еще и тем, что страдал недержанием мочи. Всегда днем и ночью от него жутко разило вонью. Жить с ним в одной комнате было несчастьем. Этой комнаты все избегали, была целая проблема, чтобы туда не попасть, но так как для Кобзи отдельные апартаменты не предусматривались, кому-то волей-неволей приходилось жить с ним, это были самые младшие, или самые слабые. Стоит ли говорить, что я жил именно в этой

комнате. У нас было установлено, что кто бы не просыпался ночью в туалет, обязательно должен будить Кобзю, но никакие меры не помогали, и нам удалось добиться только того, чтобы каждое утро этот несчастный забирал свой насквозь провонявший матрац и до вечера выносил его на улицу.

Весной 1938 года в детдоме случилось ЧП—были арестованы и осуждены Дедюша и Сорока. Однажды ночью эта пара ограбила поселковый магазинчик, взяв два ящика с колбасой, так как ничего лучшего там не оказалось. Сработали чисто, никаких следов, ящики припрятали в укромном месте, и несколько дней вся детдомовская верхушка с утра до вечера «шамала» копченую колбасу, а мы, кому колбаса не полагалась, с удовольствием поедали милостиво оставленные столовские порции. Об этой колбасе уже все позабыли, как вдруг нагрянула милиция и забрала Дедюшу с Сорокой. Был суд, оба получили сроки в колонию несовершеннолетних преступников—Дедюша больше Сорока меньше. Я более чем уверен, что выдал их атаман. Уж больно ему не хотелось делить власть с Дедюшей, после ареста которого атаман стал единоличным диктатором, распоясавшись вконец.

Атаман скоро понял, что приличного вора из меня не выйдет, хотя натаскивали меня такие специалисты, как Пивовар и Кобзя. Промучившись несколько раз, они наотрез отказались ходить со мной на дело, и на мне был поставлен крест, как на человеке, из которого ничего путного не получится. Но тут совершенно неожиданно для меня самого выявилась одна способность, которой я обладал в большей мере, чем все остальные, и я вдруг тоже оказался полезным членом «малины». Я взял тем, что умел хорошо рисовать и красиво писать. Но чтобы было понятно, где я мог приложить свои дарования, необходимо несколько отвлечься и рассказать о том, как мы учились.

Все детдомовцы учились, а точнее, должны были учиться в одной средней школе № 1, километрах в пяти от детдома. Школа занимала большое трехэтажное здание на самой окраине города Магнитогорска, недалеко от конечного трамвайного кольца, за которым в сторону города начинался металлургический комбинат. В школу вообще ходить не хотелось, да еще такая даль.

Путь лежал через татарскую слободку, и надо было держаться кучей, так как в одиночку появляться здесь было опасно—детдомовцев местные жители ненавидели, частенько били, и, признаться, было за что. В теплое время года вся жизнь этой убогой слободки протекала на улице, а в ее жалких хибарах разве что спали. Возле каждой хибары стоял стол, скамья, всякая домашняя утварь, немудрящий очаг из камней или кирпича. С утра до вечера татарки, облепленные кучей чумазных ребятишек, готовили здесь пищу, здесь же и питались. И часто наши пацаны по дороге из школы, или специально устраивая набеги на слободку, уносили с собой пару-другую медных самоваров или кастрюль, неосмотрительно оставленных на улице. Эти медные изделия разбивались затем на мелкие кусочки и сдавались как цветной металлолом за небольшую плату. Конечно, целый самовар стоил дороже, но кому и как загнать и не засыпаться? За это нас и били. А дальше от слободки до школы путь лежал через голую степь, и когда зимой там мела поземка, то не ходить в школу как бы и сам бог велел. Так что в школу ходили изредка, да и то не все, и, судя по всему, и (в детдоме, и в школе на нас Махнули рукой. Обычно утром после завтрака, когда раздавался громкий звонок, призывающий идти в школу, все, кто решил «сачкануть», забирались под кровати

вместе со своими школьными сумками и выжидали, когда дежурный воспитатель откроет дверь и убедится, что «все ушли в школу». После этого всегда запирали дверь изнутри и усаживались играть в карты. В карты играли все—эта игра заменяла детские игры, спорт ну и, как видим, учебу. Играли на деньги, если они были, если денег не было, играли на «шалбаны», которые неистово лупили двумя оттянутыми пальцами. Те, кто имели власть и силу, но сидели без денег, Могли играть под ужин какого-нибудь слабака или под вещь этого слабака. Проигравший должен был обеспечить отдачу «своего» проигрыша, и, как правило, это достигалось без особого шума. Выигравший спокойно съедал чужой ужин или вступал во владение чужой вещью, нимало не сомневаясь в справедливости такого расчета. Но для игры требовались карты, которые были не каждому по карману да и продавались не всегда. И потому их приходилось изготавливать вручную—кто как умел. Для этого прежде всего нужно было найти плотную бумагу, вырезать трафареты, иметь краску и хотя бы чуточку элементарного вкуса. С последним дело было туго, и когда я однажды выложил карты собственного производства, то они настолько понравились, что с тех пор я стал их делать по заказу за плату. Для атамана, разумеется, я сделал отличную колоду бесплатно, выражая тем самым свои верноподданнические чувства, и был всемиловитейше обласкан.

Но применение моих художественных талантов этим не ограничилось. Кроме карт в детдоме было широко распространено еще одно «культурное» увлечение—записывание песен в альбом, специально приобретаемый для этой цели. Каждый стремился обзавестись альбомом как можно шикарнее, и это не требовало особого труда, так как альбом можно было легко стащить, на худой конец, даже купить, а вот записать песню, да так, чтобы не испортить этот красивый альбом, было значительно труднее. Если читатель подумает, что это были популярные детские или эстрадные песенки, услышанные в кино, по радио или с патефонных пластинок, и умилится тому, как прекрасное находит дорогу даже к заблудшим душам, то я должен разочаровать—это были исключительно блатные песни, как еще дореволюционные, так и современные: грустные и озорные, с похабщиной и без. В них воспевалась беспризорная, воровская и арестантская жизнь во всех ее ипостасях. Других песен здесь не знали, не пели и просто в них не нуждались. И я, обладатель, красивого почерка и достаточно грамотный для этой цели, стал подвизаться в качестве переписчика этих песен. Я переходил от одного заказчика к другому, они напевали мне известные им песни, повторяя каждый куплет по нескольку раз, чтобы я смог записать без ошибки. Один знал одни песни, другой—другие, а так как я эти песни выслушивал и записывал многократно, то мало-помалу стал обладателем самого широкого репертуара и уже мог сам предложить иному «меломану» незнакомую ему песню, даже разучить ее с ним (все-таки не зря родители учили меня в музыкальной школе) ну и, конечно, красиво записать в альбом.

Вновь не могу удержаться от того, чтобы не восхититься чудом человеческой памяти: с тех пор прошло более пятидесяти лет, я никогда больше не слышал этих песен и, слава богу, вообще не соприкасался с ними, но они настолько прочно вошли в память, что я их помню до сих пор, не забыв ни строчки. Иногда шутки ради я поражаю этим своих теперешних друзей, людей таких же солидных, как и я сам. Никто из них не знает ни моего прошлого, ни нашей семейной трагедии—на эту тему, на всякий случай, не принято делиться даже с самыми близкими. И когда мы иногда за столом пропустим рюмочку-другую, и кто-то от избытка хорошего

настроения запоем что-нибудь из Аллы Пугачевой, я, в свою очередь, вдруг тихонечко и задушевно затягиваю что-нибудь более или менее приличное из своего бывшего репертуара. Все от души смеются этакой диковине и все допытываются, откуда я эти песни знаю, да еще в таком количестве. Мой ответ, что-де когда-то я в познавательных целях интересовался этим песенным фольклором, явно разочаровывает моих друзей.

А вот еще одно воспоминание из этой же области «культуры». Халим Закиров, один из приближенных атамана, явно имел артистический зуд, и благодаря ему в детдоме время от времени устраивались спектакли. Закиров был и сценаристом, и постановщиком, и исполнителем главной роли. Обычно в спектакле бывало задействовано не более пяти исполнителей. Пьесы были похожи одна на другую, отличаясь лишь деталями сюжетного развития. За время моего пребывания в детдоме Закиров «поставил» несколько таких пьес.

Непременными действующими лицами, переходящими из пьесы в пьесу, были «Красный командир», которому противостоял отрицательный образ «Беляка» и «Жена» либо Красного командира, либо Беляка, в зависимости от сюжетной завязки, и, конечно, главным героем всех пьес был «Жиган» в блестящем исполнении самого Закирова. Девочки в артистки не допускались, и неизменная роль Жены во всех этих пьесах исполнялась мною. Наверное, решающим фактором, определившим выбор именно меня на столь ответственную роль, были мои курчавые волосы, и когда я появлялся на сцене, в платье, под которым наглядно топорщились бутафорские груди огромных размеров, повязанный платочком, из под которого кокетливо выбивались кудри, то никто из зрителей не сомневался в достоверности образа.

Я обычно появлялся, когда на сцене уже лежал либо Красный командир, убитый Беляком, либо Беляк, убитый Красным командиром. Выражая крайнюю степень горя и страдания, я подбегал к убитому, падал перед ним на колени и, обливаясь слезами, чему хорошо способствовал репчатый лук, обнимал холодеющий труп и что есть мочи вопил:

— О, мой муж! Мой любимый муж! — после этой скорбной реплики, одинаковой как для случая с Красным командиром, так и для случая с Беляком, я закатывал глаза к небу, заламывал руки и вопил еще громче: — На кого ты меня покидаешь?!

Я несколько раз пытался поправить Халима Закирова, говоря, что нужно говорить «покидаешь», однако он был категорически против такой правки авторского текста, утверждая, что «покидаешь» будет все-таки правильнее. Что ж, с режиссерами не спорят.

В этом месте зрители обычно приходили в волнение: девочки откровенно вытирали слезы, глаза пацанов подозрительно поблескивали. И тут неизменно появлялся великолепный Жиган, встречаемый бурей аплодисментов. Он подходил ко мне, с силой отрывал от уже холодного трупа, решительно ставил на ноги и обращался ко мне со словами:

— Не плачь, слезами горю не поможешь!—он подходил ко мне совсем близко, клал руку на мое плечо и продолжал:—Не плачь, хочешь быть моей «марухой»?

И я, вне себя от радости от такого шикарного предложения, бросался ему на шею, снова вопя что есть мочи:

— О, Жиган! Мой любимый Жиган, я так долго тебя ждала!

Дальнейший сюжет разворачивался в зависимости от того, чьей бывшей женой я был, прежде чем стал «марухой» Жигана. Если в прошлом я был с Красным командиром, то мы с Жиганом, преодолев ряд опасных приключений, в конце концов, настигли Беляка и мстили ему за смерть Командира, после чего уезжали в Одессу. Если же моим бывшим мужем был Беляк, то сюжет разворачивался в комедийном плане—Жиган всячески выбивал из меня «буржуйство» и в конце концов преуспевал в этом. И... мы опять уезжали в Одессу.

Так протекала наша жизнь, и мы постепенно в нее вживались, а та, прежняя, постепенно расплывалась в отдаленных воспоминаниях, которых становилось всё меньше и меньше. Мы ничего не знали о своих матерях, и многие полагали, что их постигла участь отцов; эта мысль утверждалась и тем фактом, что мы находимся в детдоме.

От этой мысли я часто после отбоя глотал слезы, накрывшись с головой одеялом. Помню, как продолжительное время меня мучил по ночам один и тот же сон из этой прежней жизни, неизменно кончающийся зловещим эпизодом. Мне снилось, будто моя мама хочет куда-то уехать и оставить меня одного, я это знаю и вне себя от горя умоляю ее не покидать меня, бегу за ней, а она сердито на меня кричит, отталкивает от себя руками и со смехом над моим горем садится на извозчика. Я продолжаю бежать, пытаюсь догнать, и это удается мне с большим трудом, ноги как ватные, и я их еле-еле переставляю. И когда я почти догоняю извозчика, протягиваю к маме руки и кричу, чтобы она взяла меня с собой, а слов моих почему-то не слышно, она громко, дико хохочет и велит кучеру ударить меня кнутом. Тот оборачивается, и я вижу, что это вовсе не кучер, а мой отец, и он бьет меня кнутом, я падаю в дорожную пыль и... в ужасе просыпаюсь. Но в моих ушах все еще звучит дикий хохот мамы, исчезающий вместе с ней.

Этот сон мучил меня, доводил до отчаяния, и я боялся приближения новой ночи. Однажды после того, как этот идиотский сон стал преследовать меня не только каждую ночь подряд, но и по нескольку раз за ночь, мой организм не выдержал, я тяжело заболел на нервной почве и меня положили в местную больницу. С медицинской точки зрения этот факт не представляет собой особого интереса, но мог сыграть в моей жизни поворотную роль совсем в другом аспекте.

В больнице, куда меня положили, работала супружеская пара. Он был главным врачом этой больницы, а его жена—Эмма Францевна Краузе—была врачом, у которой я лечился. Это были люди средних лет, очень добрые, весьма интеллигентные, и, судя по имени и фамилии, в их происхождении было что-то немецкое, может быть, такое же далекое, как у моего отца. Эмма Францевна увидела, что я совсем не такой «нормальный» детдомовец, с которыми она имела дело, а когда она услышала от меня рассказ об этом кошмарном сне, который, как уверяла она, и привел меня в больницу, а затем и более подробный рассказ о том, что этому предшествовало, и каким образом я очутился в детдоме, то она прониклась ко мне величайшим состраданием и участием. Ее привязанность ко мне за эти двадцать дней пребывания в больнице настолько укрепилась, что она

решила, не более и не менее, как усыновить меня! У этой супружеской пары не было детей, и, очевидно, я устраивал их во всех отношениях. Эмма Францевна не скрывала от меня своей привязанности, она с места в карьер начала меня усиленно обрабатывать со всех сторон. И в больнице, и после того, как я уже вышел, я был окружен ее заботами и вниманием. Она меня просто закармила домашними сладостями, и я частенько прибегал к ней в больницу, где в любой момент меня ждал чай с вареньем, печеньем и конфетами. Эти вкусные трапезы омрачались для меня лишь ее ласками, которые раз от разу становились все более назойливыми.

Она снабжала меня карманными деньгами, покупала необходимые мелочи, стоило лишь мне заикнуться о них, и, честно говоря, я этим частенько злоупотреблял. Но верх ее забот проявился в том, что в школу и обратно я мог теперь ходить не пешком, а ездить на лошади, в теплое время года запряженной в легкую рессорную пролетку, а зимой—в сани с крытым верхом и теплой меховой полостью. Дело в том, что супруги жили не в Ново-Туковском поселке, где была расположена больница, а в центре Магнитогорска, и каждое утро к конечной трамвайной остановке, куда они приезжали из дома, им подавался этот конный экипаж, числящийся за больницей. Вечером после работы их таким же образом доставляли обратно. Я уже упоминал, что школа, где мы учились, была рядом с конечной трамвайной остановкой, и главный врач распорядился, чтобы перед тем, как утром отправляться к трамваю, экипаж подъезжал к детдому и отвозил меня в школу. Этот же экипаж отвозил меня и из школы, для чего я сообщал деду, сидящему на козлах, к какому часу за мной приезжать. Конечно, это был явный перебор со стороны добрейшей Эммы Францевны, и хотя эти разъезды продолжались сравнительно долго, закончились они все же довольно неприятно — меня пару раз крепко отколотили за «фраерство», а Эмму Францевну то ли вызывали к заведующему детдомом для объяснений, то ли разговор с ней произошел по телефону, но ей предложили немедленно прекратить это исключительное внимание ко мне, и я, как и все, стал топтать ножками.

Оказывая все эти и другие знаки внимания, Эмма Францевна как бы незаметно, но в то же время при каждом удобном случае внушала мне мысль, что навряд ли мне придется когда-нибудь встретиться с мамой, вполне вероятно, что ее постигла участь моего отца, что она постарается все как можно скорее узнать, и тогда ничто не помешает им усыновить меня и забрать из этого ужасного детдома. Она рисовала мне радужные перспективы, ожидающие меня в их семье.

Ко всем этим высказываниям Эммы Францевны я относился более чем сдержанно, предпочитая молчать. Однако наедине с самим собой я стал все чаще задумываться о том, как же жить мне дальше, что делать, и в этих мыслях перспектива обрести новых «родителей» уже не казалась невероятной и невозможной...

Не знаю, чем бы это все кончилось, но тут совершенно неожиданно в мою «сиротскую» жизнь ворвалась бабушка, перевернув и перечеркнув весь ход событий. В один поистине прекрасный день поздней осени 1938 года я получил ее письмо — первое письмо за почти годовой период моей жизни в детдоме. Из письма я узнал, что живет она в Томске, что все это время она разыскивала меня и маму и наконец после многочисленных запросов по линии НКВД узнала мой адрес и теперь, мы с ней будем иметь постоянную переписку. Относительно мамы она сообщила, что та жива-здорова, находится в лагере, адрес которого ей пока неизвестен, так

как первые два года пребывания в лагере писать письма не разрешают, но уже скоро она узнает адрес мамы и тогда мы все втроем будем знать друг о друге все-все. Заканчивалось письмо просьбой ответить как можно быстрее, так как по получении моего письма она начнет ходатайствовать о разрешении забрать меня из детдома. И еще бабушка сообщала, что в скором времени вышлет мне посылку.

Ах, какое великолепное было это письмо! Все в нем было прекрасно! Я никогда в своей жизни не получал писем, которые несли бы в себе такое огромное количество радости. Пожалуй, именно с этого письма у меня начался новый этап детдомовской жизни, наполненный конкретными ожиданиями перемен и каким-то смыслом в отношении будущего. И главное—мама жива!

Я поспешил сообщить об этом Эмме Францевне. Она плакала и радовалась вместе со мной, а глаза ее были грустные и растерянные. Она, как и прежде, приглашала приходить к ней, но я с ней никогда уже больше не встречался, считая, что не имею права на это.

Разумеется, я не задержался с Ответом и вскоре получил от бабушки второе письмо и обещанную посылку. Радость была настолько огромна, что ее не могло омрачить даже то обстоятельство, что получил я эту посылку в весьма уменьшенном объеме. В детдоме существовал неписанный закон, по которому все посылки, редко приходящие на имя отдельных счастливых, должны были прежде всего предъявляться атаману. Мне напомнили об этом законе, и я с улыбкой до ушей и с ящичком в руках предстал перед атаманом. Тот, не менее довольный, чем я, стал не спеша и с интересом вскрывать ящичек, а я вертелся вокруг, всячески старался помочь, пока он не цыкнул, чтобы я не мешался и отвалил в сторону. И вот ящичек вскрыт. Атаман вынимает из него на всеобщее обозрение лежащий сверху замечательный теплый свитер из белой шерсти, то ли связанный самой бабушкой, то ли купленный ею. Свитер нравится не только мне, но и атаману, а так как бабушка не догадалась и прислала только один свитер, и его нельзя разделить пополам, то свитер достается атаману, и он сразу же примеряет его на себя, по общему мнению ему все же чуточку маловат, но все успокаивают атамана тем, что со временем он растянется. Что касается конфет, пряников, орехов и других вкуснятин, то их легко можно было делить, и атаман щедро отвалил мне половину вместе с ящичком.

В письме бабушка сообщала мне о том, как была рада, получив от меня первое письмо, и о том, что подала куда надо и куда не надо прошения, чтобы ей разрешили взять меня из детдома, что пока у нее ничего не получается, но она решила написать письмо самому М. И. Калинину.

Вся моя жизнь была подчинена теперь одной мысли—разрешат бабушке взять меня или нет? Мне уже было все равно, что происходило вокруг меня, я ходил как во сне, и даже вид атамана, щеголявшего в моем белом свитере, не вызывал печальных эмоций. Разрешат или нет—вот в чем вопрос! А все остальное, как говорили у нас в детдоме, «до фени». Конечно, в те детские годы я еще не мог осознанно оценить возможную результативность послания бабушки нашему всенародному старосте, как тогда называли Калинина. С позиций опытного ума и здравого смысла, этому бабушкиному воззванию к сердцу и совести одного из сильных мира тогда, еще в то смутное время, была грош цена в базарный день, на него и ожидать ответа-отписки было великой наивностью.

Но произошло чудо, одно из тех, что очень редко, вопреки логике, украшают нашу жизнь,— бабушка получила ответ из Президиума Верховного Совета СССР, уведомляющий ее о том, что просьба ее рассмотрена и местным органам власти дано указание проверить ее материальную и другие возможности для моего содержания и воспитания, что при положительном заключении ей будет дано разрешение взять меня из детдома. И буквально на следующий день после получения этой драгоценной бумаги к бабушке на квартиру явилась комиссия по проверке ее жилищных условий, затем у нее затребовали различные справки с места работы, о размерах заработной платы, о состоянии здоровья и многие другие, о существовании которых только и узнаешь при таких ситуациях. А затем за этим чудом последовало другое: выводы комиссии оказались положительные, и после кое-каких формальностей бабушка наконец получила право забрать меня из детдома.

Ай да Калинин, ай да всенародный староста! Для бабушки он на всю ее жизнь остался самой светлой личностью из всех тех, кто в то смутное время правил бал на советской земле.

Но обо всех подробностях, связанных с моим «возведением», я узнал значительно позже, а пока все это решалось в столь высоких многочисленных инстанциях, я день и ночь в течение почти трех месяцев мучительно ждал результата. И вот в январе 1939 года мне наконец объявили, что получено распоряжение об отправке меня в Томск по месту жительства моей бабушки. Бабушке каким-то образом удалось договориться о том, что в Томск меня привезет кто-нибудь из воспитателей, а все командировочные расходы будут оплачены ею. И вот тут впервые в моей памяти всплывает образ одного-единственного воспитателя и именно того, кому поручили меня сопровождать. Это был крупный сильный мужчина средних лет, которого недавно, уже при мне, приняли на работу. Надо сказать, что это был очень ценный кадр для детдома, ибо его, по крайней мере, хоть все боялись. Я видел, как он давал подзатыльники даже самому атаману. Перед отъездом меня попрощнее и потеплее одели, снабдили сухим пайком, и, сопровождаемый воспитателем, я навсегда оставил негостеприимные для меня стены детдома, где я провел, пожалуй, самый удивительный в моей жизни период длиной в год и три месяца.

ГЛАВА 9

Рассказывающая о кое-каких переменах в связи с начавшейся войной; попутно делается попытка порассуждать и ответить на некоторые вопросы, но ответа не получается...

Стоит ли говорить, каким радостным событием для мамы было получение бабушкиного письма. Наконец-то кончились ее мучительные думы — что с нами. Уже одного известия, что мы живы-здоровы, было достаточно, чтобы быть счастливой. Если первое письмо было коротким и лаконичным, написанное только

для того, чтобы найти адресата, то в последующих бабушка уже более подробно рассказала и обо всех своих мытарствах и обо мне. Поведав коротко о моем детдомовском периоде жизни и о том, как ей удалось вызволить меня из детдома, бабушка с огорчением сообщала, что «Горик уже не тот мальчик, что был раньше», что она не знает, что со мной делать, и что подумывает о том, чтобы просить Геру взять меня на воспитание. Я тоже писал маме, редко и коротко, но по моим письмам она не могла, разумеется, представить, что такое я был на самом деле. Но одно она понимала совершенно твердо—надо выжить, во что бы то ни стало выжить и по окончании срока вернуться ко мне и, может быть, еще успеть что-нибудь сделать для меня полезное, как-то направить и устроить мою дальнейшую жизнь, о чем они когда-то мечтали с отцом. И в думах об этом в своем арестантском положении ей было не по себе от той простой и назойливой арифметики—ведь после оставшихся ей в Алжире шести лет, в 1945 году, мне уже будет, страшно подумать—девятнадцать лет. Почти уже взрослый мужчина, ну как тут успеть с помощью и не опоздать?!

И потекли дни, недели, месяцы, годы, отмечаемые с обоих концов—сколько прожито и сколько осталось— и, когда началась Великая Отечественная война, последних было еще слишком много...

Зная, как эта война потрясла нашу страну, сам познав все ее тыловые тяготы, я, готовя материал для этой повести, часто и настойчиво спрашивал маму— как же встретили войну в Алжире, что принесла она с собой лагерным обитательницам, какие новые тяготы и лишения свалились на них? И меня всегда поражали ее ответы—а никак, просто узнали, что началась война с немцами, в лагерной жизни ничего не изменилось, как жили раньше, так и продолжали жить. Это кажется мне удивительным и даже неправдоподобным—как же так, ведь я знаю не понаслышке, какого горя хватил народ, каким тяжелым бременем легла война на плечи каждого из нас, малого и старого, а тут—никаких изменений, все без перемен. Но, наверное, так оно и было, и лишь мне это явление представляется страшным, так как по-своему определяет меру отчужденности обитателей Алжира и других подобных ему лагерей от жизни страны, меру изоляции. «Жен изменников родины» лишили даже права разделять всенародную беду и переживать ее вместе со всем народом!

Нет, что бы ни говорили, но эти лагеря — явление уникальное и в силу своей уникальности заслуживают самого пристального и компетентного изучения. Я надеюсь, что когда-нибудь, хоть и с большим опозданием, это будет сделано высокопрофессионально и объективно. А пока я в силу своего дилетантства не могу отвязаться от назойливых вопросов: для чего все это было задумано и осуществлено? С какой благой целью? Какую пользу все это могло принести в политическом, экономическом и других аспектах, если даже рассматривать все содеянное только с точек зрения Ежова, Берия, Сталина и иже с ними? Ну, пусть Ежов и Берия, как мы знаем, были врагами народа и всячески нам вредили, примем и такую весьма сомнительную и довольно наивную, но иногда официально высказываемую гипотезу, что бедный «Вождь всех народов» попал под их влияние, вроде неопытного юнца в компании хулиганов. Но где же были все те «иже с ними», которые представляли тогда политическую, законодательную и исполнительную власть, чьи имена до сих пор являются гордостью истории нашей страны, а их драгоценный прах торжественно и, судя по всему, вечно покоится у Кремлевской стены? Ведь они все, плохие и хорошие, были государственными деятелями великой страны, людьми высокой ответственности. Почему же эти умные люди не могли не

дать всему этому вразумительного обоснования хотя бы для самих себя, не говоря уже о своем народе? Я уже не говорю о мужьях, которых репрессировали по многим целевым направлениям — кто-то сознательно подрывал кадровую политику, вопя при этом «кадры решают все!» и нанося невосполнимый ущерб экономике, обороноспособности, культуре; кто-то убирал с пути нежелательных свидетелей своей бездарности или своих конкурентов в борьбе за более сладкий кусок пирога; кто-то сводил личные счеты, патологически наслаждаясь при этом вседозволенностью; вполне возможно, что среди репрессированных были и такие, кто этого заслуживал, и, таким образом, в общей куче расправ, поставленных на государственную ногу, может быть, творилось и благое дело.

Как бы то ни было, но в отношении мужей при желании можно было найти причину и прикрыть ее подходящим лозунгом и ссылкой на источники. Но вот в отношении жен это сделать просто невозможно даже при большом желании! Ведь никто из них лично ни в чем не провинился, ничего противозаконного не совершил, к ним не предъявлялись обвинения и их, эти обвинения, даже не пытались получить под пытками, чтобы иметь «цель и лозунг». Вся их «вина», таким образом, заключалась лишь в том, что они по воле божьей были женщинами, а потому по законам природы повыходили замуж, спали, извините, со своими мужьями и рожали им детей, и никто им своевременно не подсказал, что мужья их оказались не теми, с кем это можно делать безнаказанно. И только за то, что они были женщинами, но теперь уже со всеми вытекающими из этого последствиями, их оторвали от родного очага, разлучили с детьми, лишили любимых для них и полезных для Родины занятий, разорили материально, унизили нравственно, согнали в кучи по всей стране и на многие годы изолировали от всей внешней жизни.

Осмелюсь утверждать, что подобная государственная акция исторически беспрецедентна, и ни одна, даже самая жестокая, самодержавная власть, когда-либо существовавшая, не может «похвастаться» подобным режимом. И отечественная история не знает аналогов. Во время знаменитого восстания в 1825 году, когда вина декабристов с точки зрения царского самодержавия была совершенно очевидна и доказана, и когда за этим последовали жесточайшие репрессии—смертные казни, пожизненные и долгосрочные, ссылки, то ни царю, ни «иже с ним» даже в голову не пришло репрессировать жен декабристов и заключать их в лагерь, подобные нашему Алжиру.

Как, чем все это объяснить? Какой необходимостью, каким лозунгом обосновывалась вся эта беспрецедентная акция попрания прав, чести, достоинства и самой жизни ни в чем не повинных женщин, не говоря уже о том, что страна лишилась тысяч (а может, десятков, сотен тысяч? кто их считал?) ученых, инженеров, врачей, педагогов, деятелей культуры и искусства, просто культурных и образованных сограждан и просто Матерей — настоящих и потенциальных? К тому же для реализации этой акции понадобилось строительство сотен (тысяч? десятков тысяч?) лагерей наподобие нашего Алжира, затраты значительных материальных средств и отвлечение людских резервов для администрирования и охраны. И это именно в годы первых пятилеток, и в годы войны, когда не хватало ни средств, ни людей!

...А время тянулось гораздо медленнее, чем хотелось бы. Вся страна жила единым военным лагерем, и только тут, в благословенном Алжире, жизнь продолжалась по однажды введенному порядку, почти без поправок на войну.

Радио не было, газет не выписывали, жили слухами и случайно прочитанными сообщениями из газет, изредка попадавших в руки, кое-что узнавали из писем. Знали, конечно, что идет война, но как она идет, «кто кого», что творится на белом свете—до обитательниц Алжира не доходило. Они даже не представляли ни реального масштаба войны, ни ее характера, ни опасности, нависшей над Родиной. Изоляция эта была настолько непробиваема, что мама, уже после войны, с искренним изумлением слушала мои рассказы о жертвах России, понесенных в этой войне, о том, как умирали от голода в осажденном Ленинграде, как умерла в Томске от голода ее мать, а моя бабушка, и как я сам постоянно жил с мечтой о лишнем куске хлеба.

— Подумать только?—удивленно восклицала мама.—А я и большинство наших алжирок всю войну получали по 800 граммов хлеба в день и трехразовое питание. Выходит, мы жили лучше вас? Подумать только!..

Но все же и в Алжир война принесла перемены. Одной из наиболее заметных перемен явилось сооружение новой зоны. В срочном порядке освободили два крайних барака—кого расселили по другим, кого вывезли—и внутри существующей зоны стали огораживать еще одну зону, что вызвало среди обитательниц Алжира и удивление, и беспокойство. Ко всему этому уже за зоной выстроили еще один барак размерами поменьше прочих и тоже обнесли его двумя рядами колючей проволоки и даже своими сторожевыми вышками. А вскоре после того, как все эти окутанные тайной сооружения были закончены, появились и их обитатели — мужчины-уголовники.

Господи, их только тут и не хватало. Кончилось женское царство! Хотя эти два мужских барака были изолированы от женской зоны и какие-либо общения не допускались (охрана была значительно усилена), все же полностью изолировать друг от друга мужчин и женщин было невозможно, хотя бы уже потому, что питались мужчины в общей зонной столовой, а иногда для выполнения тяжелых работ придавались к женским бригадам. В общем, до поры до времени все было тихо-спокойно, однако через год число служебных помещений лагеря увеличилось еще на одно — в спешном порядке был сооружен родильный дом, ибо около пятнадцати обитательниц Алжира заявили о своем праве на материнство. А когда у них появились ребятишки, их поселили в специально выделенный дом, где они и жили до окончания срока. По рассказам мамы, все эти лагерные связи не были любовью, заявкой на будущую семью, или взаимной привязанностью. Все было проще, все было делом случая. За всю ее бытность в Алжире только лишь одна пара — оба инженеры—составили настоящую семью, и лагерное начальство, зная об отношениях этой пары, поступило, по их просьбе, поистине гуманно, разрешив жить вместе в маленькой комнатенке. Срок у этой женщины кончился раньше, но она осталась в лагере в качестве вольнонаемной, два года ждала освобождения своего избранника, а потом они уехали куда-то под Иркутск.

С поселением в лагере мужчин-уголовников жизнь обитательниц Алжира значительно усложнилась. Раньше в погожие летние деньки после обеда многие, бывало, снимали свои матрацы с нар, выносили их из барака на солнышко и, чуть прикрытые, загорали в свое удовольствие; теперь этому пришел конец. К тому же усилилась охрана, надзор, проверка на проходных. А когда в лагерь завезли еще и партию женщин-уголовниц и расселили их по баракам вместе с женами— стало еще хуже. Вновь они соприкоснулись с тем, что когда-то в первые дни содержания в

пересылках да тюрьмах так ошеломило их. Боялись и воровства, но его практически не было. А когда однажды одна из уголовниц ukrала у кого-то дневной паек хлеба, ее чуть не убили свои же товарки: сработал неписанный воровской кодекс чести — у своих не воруют.

Особое место в лагере и потенциальный источник опасности представлял тот новый, недавно построенный метрах в трехстах от; зоны барак, что удостоился отдельной усиленной охраны. Его почему-то называли «101-й барак», будто до него была еще считанная сотня. В этом 101-м жили «воры в законе»—уголовная элита, которая отказывалась от любых работ и всячески игнорировала лагерный режим. Они получали по 400 граммов хлеба и одноразовое горячее питание, но жили, однако, не хуже других, так как- получали обильные посылки с воли. Раздатчицы зонной столовой, в том числе и мама, поочередно возили им обед, и хотя их всегда сопровождал охранник, было все-таки страшновато. Большинство обитателей 101-го барака составляли цыгане, а старостой был пожилой одноногий армянин, которого все почему-то боялись и беспрекословно слушались. С утра до ночи эти «воры в законе» резались в карты и могли проигрывать не только деньги, одежду и другие материальные ценности, но и человеческие жизни. Стал известным случай, когда один из цыган, проигравшийся до копейки и до исподнего и уже ничего не имея для оплаты последнего проигрыша, по требованию более счастливого партнера пригвоздил к доске кошелек одного из своих молодых сородичей. После этого нашумевшего ЧП раздатчицы так перепугались, вполне резонно полагая, что не исключена возможность оплаты проигрышей их собственной честью и даже жизнью, что им были вынуждены поставить у котла с баландой второго охранника.

В конце 1941 года Валечка покинула наконец полевой стан и переехала в основную зону. Маме удалось устроить ее рядом с собой, и они уже не расставались до конца. Работать Валечку послали на швейную фабрику. Эта фабрика полностью перешла на пошив солдатской одежды — шили гимнастерки, брюки-галифе, нижнее белье—еще одно веяние войны. Работалось нормально, но все-таки однажды Валечка из-за работы угодила на трое суток в карцер. А дело было так. На фабрике работали по поточному методу, в основном вручную, и каждая швея выполняла определенные операции. Все боролись за выполнение дневного плана, так как его невыполнение грозило уменьшением хлебной нормы, и когда из-за задержек в потоке бывали свободные минуты, то их использовали с пользой для дела. Валечка обычно такие паузы заполняла тем, что заранее вдергивала нитки в иголки, подготавливая свой немудреный инструмент впрок, чтобы впоследствии во имя борьбы за план не терять времени на эти вспомогательные операции. Заготовленные иголки с нитками она для удобства втыкала в отвороты спецовки. В этот день она не успела «выработать» все иголки, а в конце рабочего дня забыла о них, и совершенно напрасно, так как в лагере существовал приказ, категорически запрещающий выносить с фабрики что бы то ни было, в том числе иголки и нитки. И когда вахтер на проходной заметил воткнутые в спецовку три иголки с нитками, то тут же задержал нарушительницу, доложил по команде. Случай был расценен как возможность хищения (а читатель знает, что в те времена уже один факт возможности давал основание для обвинения), и наша Валечка на трое суток угодила в карцер — так сказать, сутки за иголку, но это еще по-божески, могло быть и хуже.

А уж наговорились сестры, когда оказались вместе — вдоволь и даже больше! Три года они были почти рядом, но почти ничего не знали о делах друг друга. А

главное—о детях: что с Гавриком, что с Леночкой, что с Гориком. К тому времени переписка была уже разрешена, судьбы детей более или менее обозначились, и каждой было о чем рассказать. И в эти долгие бессонные ночи лились бесконечные разговоры, вновь и вновь волнуя сердце, бередя душу...

...После ареста родителей Гаврик, приехавший в Москву из Ленинграда, вместе с Леночкой продолжали жить в той же самой квартире на Покровке вплоть до самой войны. А когда началась война, Гаврик—в то время студент МГУ, куда ему удалось перевестись из Ленинградского института,— вместе со многими студентами своего курса добровольно записался в народное ополчение и ушел на фронт защищать Москву. Но воевать ему пришлось недолго, ибо через несколько месяцев в одном из боев на подступах к Москве он был контужен, и когда очнулся, то услышал вокруг себя немецкую речь. Затем было несколько лагерей военнопленных, три неудачных побега, когда его ловили с собаками и избивали до полусмерти, и наконец четвертый удачный побег, когда его полуживого подобрала и спасла от смерти одна украинка. Потом были... но это уже другая повесть, и она не вписывается в рамки этой.

И, конечно, Валечка тогда ничего не знала об этом, кроме того, что Гаврик ушел на фронт, прислал несколько писем, а потом вдруг замолчал. Неужели убит?!..

Совсем по-иному сложилась судьба Леночки. Оставшись одна, она рано вышла замуж, ее муж сразу же был призван и отправлен на фронт. Когда началась эвакуация гражданского населения из Москвы, Леночка со своим десятимесячным Юрой была вывезена в Башкирию и в конце концов очутилась в одном из забытых богом и людьми сел, одна среди чужих людей, без каких-либо средств к существованию, да к тому же с грудным ребенком. Из всех родных, оставшихся в живых и на свободе, у нее была только бабушка Агния Михайловна, живущая в Томске (меня там уже давно не было, так как наша общая бабушка еще до войны отправила меня в Читу к дяде). Бабушка снимала угол на квартире у одной такой же бедной старушки, как и она сама. Еще живя в Москве, Леночка поддерживала с бабушкой редкую переписку, знала ее адрес и теперь решила перебраться к ней в Томск—все-таки хоть один родной человек будет рядом.

Леночка с сыном добралась до Томска, разыскала бабушку, прожила вместе с ней несколько дней, но так как небольшая комнатка, которую делили две старушки, не могла вместить еще двух квартирантов, то тетя Нюся, бабушкина хозяйка, нашла для Леночки другой угол в квартире неподалеку. Так они и жили некоторое время на две квартиры, на одну мизерную бабушкину пенсию, и просто чудо, как им удавалось еще кормить маленького. А потом Леночку свалил брюшной тиф, ни одна больница ее не брала, так как она не имела томской прописки. И когда она уже была на грани смерти, слезы и мольбы двух убогих старушек помогли положить ее в больницу, а ее сына, которому не было еще и года, устроить в дом малютки.

Больше месяца пробыла она в больнице, но выкарабкалась на удивление себе и окружающим. Худая, еле стоящая на ногах, с бритой головой, без гроша в кармане и без продовольственных карточек вышла Леночка из больницы, взяла из дома малютки Юру, и... решила возвратиться в Москву. Это решение по меньшей

мере было нереальным, так как въезд в Москву был запрещен — напротив, из Москвы все еще продолжалась эвакуация. Леночка продала все, что имела, вплоть до большого кожаного чемодана, когда-то привезенного из Японии, приобрела мешок, сложила в него оставшиеся вещи (в основном одежду для сына) и стала готовиться к отъезду. На вырученные деньги купила несколько булок хлеба, засушила сухарей и приобрела билет... до Барнаула. На Запад билеты вообще не продавались, Восток не имел смысла, и только в южном направлении можно было выехать, не удаляясь при этом от Москвы. Вот она и взяла билет до Барнаула, надеясь оттуда добраться до Москвы.

И добралась! Но чего это стоило—известно только ей. Путь от Барнаула до Москвы занял 35 дней. Ехала на товарняках, пересаживаясь с поезда на поезд, то забравшись в вагоны, то на тамбуре. Когда поездная бригада или охрана высаживали ее где-нибудь на первой случайной остановке, посреди поля или на разъезде, пешком добиралась до ближайшей станции и снова устраивалась на товарняк. Но чаще ее все же не сгоняли, потому что ее билетом, ее охранной грамотой был маленький Юра—жалая его, жалели и его мать, которой самой-то было чуть больше восемнадцати.

Сухари кончились на полпути, продала или выменяла на еду уже окончательно все, оставив лишь то, что прикрывало тело—слава богу, было лето, и многого не требовалось. Ребенка подкармливали сердобольные люди, а сама последние этапы перед Москвой питалась в основном рожью, которую срывала и набирала в мешок во время довольно частых остановок поездов среди полей. Разжеванной рожью кормила и Юру. За все время Тгути ей ни разу не удалось помыться, белье и одежда не менялись, вши поедали обоих. На одной из станций Леночка чуть не сошла с ума—во время остановки поезда, оставив Юру в вагоне, побежала за водой, а когда вернулась, так и похолодела — состав уже ушел! Леночка дико закричала, стала метаться по станции, безумным видом пугая встречных. Те ничего не могли понять из ее бессвязных выкриков, а когда поняли, то с трудом растолковали, что поезд перегнали на запасные пути. После этого случая Леночка уже не оставляла сына одного ни при каких обстоятельствах, и все «фуражные» и другие акции совершали теперь вдвоем.

Но всему приходит конец. Узнав от бывалых людей, тоже добирающихся до Москвы, что все подъезды к столице перекрыты, а всех нелегально приезжающих вылавливают и возвращают обратно, Леночка догадалась сойти с последнего товарняка достаточно далеко от Москвы, потом почти сутки окольными путями, с ребенком на руках и мешком за плечами, пешком добиралась до города.

Два раза ее задерживали патрули, она что-то врала про бабушку в подмосковной деревне. Но, главное, ребенок на руках — грязный, худой, голодный... И эти задержания кончались тем, что ему давали что-нибудь поесть, а ей советовали больше не попадаться на глаза. Под вечер, едва держась на ногах, Леночка добралась наконец до своего дома, поднялась на второй этаж, позвонила... и вместе с сыном упала на руки вовремя подхватившей их свекрови, которая последнее время жила здесь и охраняла квартиру. Увидев на своих руках два почти безжизненных скелета, она сначала сама перепугалась до смерти, но потом, узнав невестку и внука, донесла обоих до кровати...

Ничего, потихоньку оклемались...

Вот такую одиссею рассказала Валечка маме в эти долгие бессонные ночи. Было о чем поведать и маме. Конечно, разговор шел в основном обо мне, о моей одиссее.

ГЛАВА 10

В которой я интенсивно перевоспитываюсь и приспосабливаюсь к новой жизни, но война вносит свои коррективы, и я неожиданно прощаюсь с детством...

В Томске я прожил недолго. Очевидно, бабушка ожидала встретить любимого внука таким же пай-мальчиком, каким знала меня в Чите, но увы, детдом наложил на меня свой отпечаток, и от прежнего Горика мало что осталось. Очень скоро бабушка поняла, что я стал, как говорится теперь, трудным ребенком. К тому же возникли трудности материального порядка, и после долгих раздумий и колебаний бабушка написала письмо Гере, который по-прежнему проживал в Чите,— единственно уцелевший мужчина из нашей фамилии, почему-то до сих пор не тронутый ловцами «врагов народа». Письмо заканчивалось просьбой—если Гера имеет возможность взять меня на воспитание, то пусть не медлит и приезжает за мной. Гера не заставил себя ждать, и в августе 1939 года, напутствуемый слезами бабушки, я вновь отправился в свой родной город, из которого два года тому назад нас так безжалостно разметало в разные стороны.

Мой дядя по отцу Герман Эмильевич Польш всю жизнь был очень близок к нашей семье. Он был на восемь лет моложе брата, и когда тот женился, то многие годы прожил вместе с моими родителями. В молодости он не отличался примерным поведением и был изрядный повеса. Он рано лишился матери, а отец, оставшись холостяком, не мог дать ему должного воспитания. Отсутствие женского влияния во многом компенсировалось добрым участием в жизни Геры моей мамы, которая, как могла, старалась заменить ему и мать, и старшую сестру. Гера платил ей искренней привязанностью и глубоким уважением. И только где-то в конце двадцатых годов, незадолго до нашего переезда в Зилово, произошел неприятный инцидент, в результате которого Гера ушел из нашей семьи и поселился у своего закадычного друга Шуры Лежанкина.

Гера, никогда не отличавшийся хорошими манерами и примерным поведением, постоянно конфликтовал с Агнией Михайловной, которая была приверженцем именно хороших манер и примерного поведения и однажды эти годами спрессованные неприязненные отношения разрядились грандиозным скандалом, поводом к которому явились, скажем так, не совсем красивые амурные дела Геры с молоденькой прачкой, время от времени приходившей к нам домой для стирки белья. Отец пытался их примирить, предлагая Гере извиниться перед Агнией Михайловной, но тот уперся и ни в какую. И отец вынужден был предложить, чтобы

Гера ушел из дома, хотя бы временно, что тот и сделал без промедления, но навсегда.

С Шурой Лежанкиным Геру связывала дружба еще со школьной скамьи, и они хорошо дополняли друг друга в своих проделках. Однажды они задумали добраться на лодках по Ингоде, Шилке, Амуру и Уссури до Владивостока и угробили на это все лето. Во Владивостоке нанялись грузчиками в порту, заработали деньги на обратный железнодорожный билет и вернулись домой, довольные путешествием и собой. В подарок маме Гера привез из Владивостока ожерелье из бус, сделанных «под жемчуг».

Это путешествие так им понравилось, что на следующий год друзья решили опять же на лодке отправиться вверх по Витиму. Но на сей раз затея оказалась менее удачной, и вскоре они вернулись усталые и оборванные, побитые тунгусами. Из их рассказов, в которых трудно было отделить правду от вымысла, можно было сделать вывод, что с тунгусами они не ладили из-за неудачной попытки поухаживать за местными красавицами.

Гера несколько лет учился в институте, кажется в Иркутске, изучая холодильное дело, но институт не закончил и остался с «незаконченным высшим». Однако это не мешало ему работать именно по этой специальности, и ко времени описываемых событий он работал в управлении Забайкальской железной дороги старшим ревизором холодильной службы.

Была у него и другая специальность, как теперь говорят—хобби, которой он был обязан Шуре. Тот после окончания средней школы нигде больше не учился, а унаследовал от своего отца редкую, на мой взгляд, замечательную профессию настройщика фортепиано. Гера тоже увлекся этим делом, музыкальный слух у него был выше всяких похвал, и в свободное от основной работы время и по воскресеньям он вместе с Шурой настраивал городские рояли и пианино. Оба постепенно перебесились молодостью, повзрослели и из двух повес как-то сразу превратились в достаточно уважаемых, пользующихся уважением молодых людей. Шура женился в начале тридцатых, а Гера, не без помощи своего друга, значительно позднее, незадолго до трагедии в нашей семье.

Через дом от Лежанкиных проживала некто Анна Николаевна Поплавская, одинокая женщина, учительница, года на три старше Геры. Она была в разводе, жила одна со своим сыном Николаем в собственном полудоме, доставшемся ей в наследство. Особа она была решительная, с характером, любила шумные компании, не прочь была хорошо выпить и ничего не имела против вторичного замужества. Вот ее-то Шура Лежанкин и сосватал Гере, справедливо утверждая, что хватит тому мыкаться по чужим квартирам, пора иметь свою семью (да еще и соседями будут, что тоже немаловажно). Аня проявила свойственные ей деловитость и настойчивость, и вскоре они зарегистрировались, причем Аня оставила себе прежнюю фамилию.

Когда Гера поведал моим родителям о столь серьезных переменах в своей жизни, те просто ахнули, ибо ни о чем подобном даже не подозревали—все произошло неожиданно и в темпе. Впоследствии семьи поддерживали нормальные отношения, изредка ходили друг к другу в гости, хотя мама недолюбливала Аню за ее, как она говорила, «несколько развязное поведение».

Вот в такую семью моего дяди, но уже с трехлетним стажем, я и влился в августе 1939 года, когда Гера привез в Читу на перевоспитание...

Я испытывал понятное волнение, вновь очутившись в родных местах после почти двухлетнего отсутствия. Мне не терпелось побежать на нашу Угданскую, встретиться с прежними друзьями-товарищами. Ничего, казалось бы, не изменилось, таким же оставался наш дом, возле которого я долго бродил, не решаясь постучаться и войти, чтобы посмотреть — как там сейчас? Но там жили незнакомые люди, о чем я узнал от наших прежних соседей, живущих в доме рядом, которым я нанес визит вежливости, считая, что им будет приятно меня увидеть. И хотя их лица выражали радушие и приятное удивление, у меня хватило ума различить сквозь эту маску какую-то неестественность этого радушия, даже какую-то настороженность. Уже по вопросам, которые давались им с трудом и в которых они старательно избегали касаться событий двухлетней давности, я понял, что они все еще боятся этих событий. Они просто боялись меня, маленького пацана, стоявшего перед ними со смущенной улыбкой и с самыми лучшими намерениями, но, увы, уже отмеченного позорным клеймом.

Чувствуя это, я не затянул свой визит и вежливо попрощался. Меня проводили, не задерживая и не приглашая заходить еще.

— Знаешь, Горка, ты уже довольно большой и должен кое-что соображать сам,—сказал мне однажды Гера, когда мы сидели дома и обсуждали мое дальнейшее житье. — Мы-то с тобой знаем, что ни твой отец, ни твоя мать ни в чем не виновны, но многие другие об этом не знают и думают, что если их так сурово наказали, то, значит, за дело, а если не думают так, то помалкивают об этом в тряпочку.

Было видно, что Гера и сам волнуется, начав со мной этот нелегкий разговор, и то, что он говорил, давалось ему с трудом. Говорил он медленно, старательно выбирая слова, чтобы как можно меньше травмировать мое сознание. Я сидел молча и подавленно, шмыгая носом и время от времени смахивая слезы.

— Не плачь, — продолжал Гера, видя мое состояние,—я знаю, как это тебе обидно и неприятно, но слезами тут не поможешь, а вот как-то приспособиться к этой ситуации всем нам просто необходимо. Поэтому я тебе советую—не ходи по старым знакомым, даже если они и были когда-то хорошими приятелями родителей. Поверь, и тебе от этого будет лучше, и им спокойней. И совсем нет необходимости возобновлять прежние знакомства с ребятами. Тут у нас своих хватает, Колька за пару дней перезнакомит тебя со всеми. И вот еще о чем договоримся—никому ничего не рассказывай о нашей беде, а если где возникнут разговоры или расспросы, отвечай, что отец умер в 36 году, ты жил с мамой в Томске, а когда и она умерла в 39 году, то переехал к дяде в Читу. И не смущайся, что придется врать— это святая ложь, и не по своей воле мы ею пользуемся. Так будет всем лучше, а Капочка простит нас, что мы ее «похоронили»...

Вот такую «легенду» придумал Гера для меня, и я долго ею пользовался, а в той части, где она касается отца,— пользовался всю жизнь.

Советам Геры я следовал не совсем строго и кое-кого все-таки посетил еще. Однако после первых же посещений мне расхотелось продолжать визиты. Я ограничился тем, что повидал кое-кого из своих бывших, приятелей,— с ними было

проще. Многих из нашей бывшей компании я не застал—кто-то переехал в другой город или сменил читинский адрес, кто-то еще не вернулся с летнего каникулярного отдыха, кто-то разделил мою судьбу. И самое главное—в Чите уже не было моего верного друга Ерги Попандопуло, о встрече с которым я просто мечтал. Оказывается, вся их семья еще год назад уехала на свою родину, в Грецию, а как и почему—никто толком не знал. Переехала куда-то и семья Игоря Дорошенко, с которым я уже больше никогда не встречался.

Я поступил в седьмой класс, и, по случайному совпадению, именно в ту школу—она была ближайшей к дому,—которая еще по старой памяти называлась железнодорожной и где еще до революции учительствовала моя бабушка. Николай, сын Ани от первого брака, учился в той же школе, но классом ниже. Вскоре Гера устроил меня и в музыкальную школу для продолжения занятий по классу скрипки, хотя я уже не испытывал никакого желания учиться музыке. На этой почве у нас с Герой и возник первый серьезный конфликт, в результате которого я был выпорот ремнем.

Судя по всему, Гера во что бы то ни стало решил продолжать мое музыкальное образование и довести до конца то, о чем всегда мечтали мои родители. Возможно, и потому еще, что сам он был отменным музыкантом. Я так и не узнал, где он выучился игре на фортепиано, и когда много лет спустя спросил об этом маму, она очень удивилась вопросу, так как была уверена, что Гера никогда и нигде не учился и, по крайней мере тогда, когда они жили вместе, играть не умел. Но он играл, и еще как! И за это я прощал ему порки, что доставались мне из-за музыки.

— А ну, Горка, закрывай ставни,— говорил он мне обычно, поев после работы; почему-то он любил играть в темноте, и это стало обычаем.

Я закрывал ставни в комнате, где стояло пианино, и оттуда из темноты неслись мощные и торжественные аккорды прелюда № 5 Рахманинова. Эту вещь я до сих пор не могу спокойно слушать, получая истинное наслаждение и вспоминая Геру. Он любил Венгерскую рапсодию Листа, иногда играл этюды Скрябина, еще кое-что из серьезной классики; на вальсы и фокстроты не разменивался.

Когда я приехал, то сразу же узнал наше пианино с Угданской улицы и очень удивился тому, что оно очутилось здесь. Оказывается, после ареста отца Гера с согласия мамы решил на всякий случай вывезти пианино из нашей квартиры, как самую дорогую вещь из обстановки, к тому же это был действительно ценный инструмент, доведенный Шурой Лежанкиным до совершенного звучания. Поздно ночью Гера и Шура тщательно обвязали пианино одеялами, погрузили на ручную тележку и тайком перевезли его к соседу, даже не вывозя на улицу, а проделав проем в заборе.

Взять пианино к себе Гера не решился, так как сам не был уверен в своей судьбе и не исключал возможности ареста. Но его не тронули, и когда волна массовых репрессий схлынула, а мы с мамой уже были распределены по казенным домам, Гера опять же с Шурой и с помощью знакомого шофера ночью перевез пианино на свою квартиру.

— Так что знай, Горка,—добавил он, рассказав мне эту историю,—у тебя есть пианино—инструмент довольно ценный, хороших кровей, и когда ты вырастешь, то в любой момент сможешь его забрать. Я сохраню его для тебя.

Я думаю, что за эти два года, когда пианино было у Геры, он и достиг столь больших успехов, ежедневно и настойчиво упражняясь.

Итак, за мое перевоспитание Гера взялся горячо. Одним из основных инструментов этой затеи был, как я уже сказал, отличный кожаный ремень, который он вначале доставал из ящика комода, а когда частота его применения стала достаточно высокой, вбил гвоздь в стенку и повесил этот ремень на видном месте, чтобы тот всегда был под рукой. Зачем лишний раз лазить -в комод и портить вещь? И вот что удивительно—зла на него я не держал. Очевидно, понимал, что достается за дело. То, что детдом меня основательно испортил, сомневаться не приходилось даже мне самому. Особенно часто мне доставалось за тот блатной жаргон, от которого я не смог сразу избавиться, а Гера не считал возможным ждать, когда я заговорю нормальным человеческим языком.

А вот Кольку Гера пальцем не трогал, хотя тот и учился скверно и благонравием тоже не отличался. За один и тот же поступок мне доставался ремень, а Колька отделялся легким испугом. Если нужно было пилить дрова или вынолнять еще какую-нибудь парную работу, то для этого, как правило, привлекался я. Колька же в это время мог заниматься своими делами. Но я на это не очень обижался, ибо чувствовал, что мерит нас Гера разными мерками, и моя имеет большую цену.

Тетя Аня относилась ко мне сносно, хотя я уверен, что мое появление в их семье не было для нее подарком. Иногда она заступалась за меня, а иногда и сама готова была с удовольствием вlepить мне пару горячих.

Я довольно успешно учился и в июне 1941 года сдал последние экзамены за восьмой. Впереди светили каникулы, и мы с Колькой начали усердно готовить снаряжение для рыбалки. Если зимой нашим любимым развлечением были-коньки и мы с сумасшедшей скоростью гоняли по хорошо укатанным читинским улицам на «снегурочках» или «дутых», прикрепленных с помощью веревок и небольшой палочки к валенкам, то летом, конечно, не было ничего лучше купания и рыбалки на Ингоде или Читинке, но еще лучше были семейные пикники с выездами на дальние острова Ингоды, где водились таймени.

В первую же погожую субботу в компании трех семей (Лежанкины с детьми, знакомый шофер с женой и нас четверо) мы отправились на машине на один из таких островов километров в ста от Читы, предполагая там заночевать и вернуться в воскресенье вечером. Ночевали в палатках, жгли костры, ночью же на огонь ловили рыбу; на следующий день погода выдалась прекрасной, купались и загорали сколько душе угодно, варили «тройную уху», играли, танцевали под патефон-время провели на славу. Вечером, возвращаясь в Читу, весело горланили песни, неудержимо хохотали, все еще находясь под впечатлением недавнего отдыха. Шура Лежанкин, как всегда, время от времени подкидывал анекдоты, выбирая их из своего неисчерпаемого репертуара, с поправкой на присутствие детей.

Где-то на полпути шофер притормозил и посадил к нам в кузов еще одного пассажира—мужчину средних лет, который шел пешком в том же направлении.

— Присоединяйтесь к нам, не стесняйтесь! — кто-то весело предложил новому попутчику, начиная очередную песню.

Веселье продолжалось, но наш попутчик явно не желал к нему присоединяться и смотрел на нас с каким-то удивлением и даже неодобрением. Наконец он не выдержал.

— Вы что, товарищи, ничего не знаете?— недоуменно обратился он ко всем нам, переводя вопросительный взгляд с одного на другого, когда песня кончилась и, судя по всему, готовилась новая.

— Мы все знаем!—задорно смеясь, ответила Галя, жена Шуры, наша песенная заводила. — А ну, друзья, подтягивайте...

— Подождите! —почти со злостью крикнул наш странный попутчик—Я же спрашиваю вас на полном серьезе. Вы когда выехали из Читы?

— Вчера вечером,—ответил кто-то.—А что такое?

— Да ведь война началась,—тихо и медленно, чеканя каждое слово, произнес попутчик.— А вы тут песни поете... Видать, еще не знаете?..

— Какая война? С кем? — от веселья не осталось и следа, все удивленно и подозрительно смотрели на этого неожиданного глашатая. -

— Да с немцами, с кем же еще. Сегодня утром по радио передавали, что Гитлер двинул на нас всю свою армию, бомбил несколько городов, в стране объявлено военное положение... Я из лесничества, сам еще толком всего не знаю, вот и отправился в Читу узнать—что к чему...

Говорящий умолк, и все, кто был в кузове, молча уставились на него. Новость была не только неожиданной, но и неправдоподобной, ибо все знали, что с Германией заключен надежный союз, недавно подписан пакт о ненападении, чуть ли не друзьями заделались; об этом писали в газетах, сообщали по радио. Нет, тут что-то не то, этот тип явно мутит воду. Гера потом рассказывал, что он сразу припомнил плакаты, призывающие к бдительности, «классовый враг не дремлет», и решил, что это именно тот случай, когда перед тобой провокатор и как раз следует проявить эту бдительность. Он переглянулся с Шурой, понял, что и тот мыслит теми же категориями. Они молча пододвинулись к этому «леснику», готовые схватить его, если тот задумает спрыгнуть с машины или оказать сопротивление.

— А ты, дядя, случайно, не провокатор? — в упор и угрожающе спросил Гера. Тот даже рассмеялся, хотя ему было явно не до смеха.

— Не дурите, ребята. Все так и есть, как я вам рассказал... Ничего не придумал, сам слышал радио. А вы просто не в курсе дела, прозевали войну со своей рыбалкой. Вот сейчас подъедем к Чите и сами все узнаете...

Что-то в его словах и тоне говорило за то, что все это правда — правда, которой не хотелось верить. Все притихли, молча всматриваясь в еще далекие очертания города.

— Люди, народ, что вы там приуныли?—из кабины высунулась голова шофера, удивленного, что не слышно больше ни песен, ни смеха. Счастливый, для него война пришла на час позже...

В первый период войны жизнь для нас продолжалась вроде бы без перемен. В то время как на западе гремели ожесточенные бои, здесь, в далекой Чите, войну мы ощущали пока только по неутешительным сводкам. Началась мобилизация, но Геры она не коснулась—видно, Герин возраст не призывался или из-за его плохого зрения. Наиболее ощутимо война отразилась на прилавках магазинов — постепенно стали исчезать некоторые продукты, начались перебои с хлебом. В городе ввели норму—по килограмму хлеба в руки, появились большие очереди, и нам с Колькой приходилось по целым дням торчать в этих очередях. Потом ввели карточки на хлеб и на продукты, и уж тут-то войну почувствовали все.

Но жизнь продолжалась, кончились каникулы, я пошел в 9-й класс. Проучился я не более десяти дней, как однажды вечером Гера усадил меня рядом с собой и повел разговор, который в конечном итоге изменил всю мою жизнь и поставил на ней новую веху.

— Знаешь, Горка, у меня к тебе есть разговор, поговорим, как взрослые,—серьезно начал Гера.—Думаю, ты и сам понимаешь, какое сейчас время. Судя по всему, война протянется еще неизвестно сколько, меня могут в любое время призвать. И тогда тебе будет плохо, ведь здесь только я один тебе родной и никому ты больше не нужен. Я вот подумал, посоветовался кое с кем, поговорил с Аней и хочу предложить тебе одно дело — поступить в школу военных техников, есть такая на Чите-первой. Я уже навел справки и узнал, что принимают туда после восьми классов, занятия начнутся с 1 октября, так что время еще есть. В школе имеется три отделения по специальностям, и одна из них представляется мне интересной и перспективной, называется она «электросиловое хозяйство железнодорожного транспорта». Ну, что ты скажешь?

— Не знаю,— нерешительно ответил я, предложение было совершенно неожиданное, к тому же я действительно не имел никакого представления, что это за «электросиловое хозяйство».

Гера, очевидно, другого ответа от меня и не ждал, и мы решили вдвоем отправиться в эту школу и познакомиться с ней поближе. В общем, в конце концов было решено, что я поступаю в ШВТ, как эта школа сокращенно называлась. Мы подготовили необходимые документы и снова вместе с Герой пришли в кабинет начальника школы. Он стал просматривать документы и когда прочитал мою автобиографию, в которой сообщалось все, как есть, без утайки, отложил листок в сторону и сказал, обращаясь ко мне:

— Выйди, пожалуйста, на несколько минут, в коридор, я хочу поговорить с твоим дядей.

Я вышел.

— Послушайте, с такой биографией я вашего племянника принять не могу,— продолжил начальник школы, обращаясь к Гере.— Но я вам сочувствую всей душой, и потому мы сделаем так: вы мне не приносили этой автобиографии, а я ее не видел и не читал; перепишите все заново, а как—вы сами должны понимать. Хочу надеяться, что это останется между нами...

На этот раз мы с Герой сочинили автобиографию, используя в ней «легенду», ранее принятую для частного пользования. И меня приняли. Вступительных экзаменов не было, так как это был дополнительный набор до необходимого контингента, и в октябре 1941 года я стал курсантом читинской школы военных техников, что в значительной мере предопределило всю мою последующую жизнь.

ГЛАВА 11

Повествующая о годах учебы в ШВТ и попутно рассказывающая о трагической судьбе еще одной семьи, перекликающейся с нашей...

Читинская школа была не совсем обычным учебным заведением, рожденным нуждами войны. ШВТ представляла собой военизированный железнодорожный техникум для подготовки специалистов-железнодорожников, необходимых для работы в условиях военного времени. В школе изучались и технические, и военные дисциплины. Выпускники ШВТ должны были получать диплом техника, а при направлении в воинские части им должны были присваиваться младшие офицерские звания. «Должны были» употреблено здесь потому, что прецедента пока еще не было, так как это был первый набор, и все это ожидало нас через четыре года, на которые был рассчитан полный курс.

ШВТ принадлежала железнодорожному ведомству, но имела военную организацию. Как военизированное подразделение, школа представляла собой отдельный батальон, состоящий из трех рот, причем одна рота была женской. Во главе батальона и рот стояли кадровые офицеры, но ниже военная иерархия - представлялась уже самими курсантами: из тех, кто был постарше или, еще лучше, из тех, кто имел жизненный или военный опыт, назначались старшины рот, помкомвзвода и командиры отделений.

Каждая группа по специальности составляла взвод, и в нашей группе будущих электриков было 27 человек — в основном читинцы или ребята из ближайших мест, но было и несколько человек, эвакуированных с западных областей. Двое были с такой же судьбой, как и у меня, и с одним из них—Юрием Игнаткиным—я сразу же подружился.

Судьба семьи Игнаткиных не менее трагична и вполне характерна для того времени. Лишь отдельными деталями она отличается от судьбы нашей и тысяч

других семей, и я не могу не рассказать об этом в рамках известных мне фактов, для чего должен вновь перенестись к событиям 1937 года.

Отец Юры—Александр Агафонович Игнаткин—работал в то время начальником дистанции пути, был человеком заслуженным и уважаемым, и этого оказалось вполне достаточным, чтобы он, как и мой отец, был репрессирован. Позднее и мать Юры—Мария Григорьевна Игнаткина—о которой я уже упоминал, получила свои 8 лет и находилась в том же Алжире, что и моя мать, но уж так вышло, что наши матери не были близко знакомы, хотя и знали друг друга. Мария Игнаткина была, как говорится, женщиной «из народа», имела самое скромное образование, но была энергичной и инициативной, с задатками незаурядной общественницы, и жены работников дистанции пути, возглавляемые ее мужем, избрали ее председателем своего женсовета. По этой общественной работе она была тесно связана с Соней Кудрич, возглавлявшей тогда женсовет Забайкальской железной дороги. И если в то время их мысли и были заняты предстоящей дальней дорогой, то уж во всяком случае, не в Алжир, а в Москву, где в июне тридцать седьмого нарком путей сообщения Каганович созывал Всесоюзное совещание активисток женских советов. В числе других посланцев Забайкальской железной дороги чести присутствовать там были удостоены и Соня Кудрич, и Мария Игнаткина. Начались волнительные сборы, всех делегатов пригласили в политотдел дороги, где их проинструктировали по многим вопросам столь знаменательного события и даже доверительно и заботливо рекомендовали не испуганным в светских приемах женщинам, как вести себя, как лучше одеться и причесаться, чтобы выглядеть красиво и достойно.

На этом подготовка к совещанию для многих женщин закончилась. Где-то в середине июня перед самым отъездом делегации их заботы о красивом платье и изящной прическе круто переключились на совсем иные заботы, связанные с неожиданным арестом мужей, с бесчисленными и унижительными посещениями управления НКВД в надежде на справедливость и на благополучную передачу чистого белья...

А жизнь продолжалась. Образовавшуюся брешь в срочном порядке заделали новыми делегатами, совещание в Москве прошло на высоком уровне, а в речах и выступлениях не было недостатка в благодарностях тем, кто, проявляя революционную бдительность, решительно, своевременно! пресекает попытки врагов народа свернуть нас со сталинской пути.

И уже позднее на торжественном совещании накануне праздника 7 ноября в актовом зале управления Забайкальской железной дороги выступила жена начальника дороги, сменившая Соню Кудрич на посту председателя женсовета. В своей яркой, убедительной речи она призывала и впредь без жалости и сострадания с юр нем вырывать из наших рядов врагов народа и изменников Родины. Эти призывы оказались настолько горячи, всеокрушающи и неизбирательны, что не прошло и месяца, как она сама очутилась в читинской тюрьме вслед за своим репрессированным мужем. По свидетельству очевидцев, никто из ранее «вырванных с корнем» руки ей впоследствии не подал...

Прошло некоторое время после июньских арестов мужей, стали известны случаи ареста жен и насильственного разлучения их с детьми. Мария Игнаткина не на шутку встревожилась, ибо ее корни были достаточно крепки и тут было что

вырывать. Кроме младшего Юры, моего сверстника, было еще две старших дочери. Семья решила, что если и до них дойдет очередь, хотя в это не хотелось верить, то и при этих обстоятельствах не разлучаться. "И когда двое сотрудников НКВД пришли к Игнаткиным, чтобы арестовать мать, а детей забрать в детский распределитель, то дети со всех сторон вцепились в мать, и никакие уговоры, никакие усилия сотрудников не могли их разъединить.

— Вызывай машину,—обозленно сказал один из сотрудников другому,—ничего мы с этими зверенышами не сделаем, повезем всех вместе...

Когда машина въехала во двор управления НКВД и сотрудники открыли двери, они увидели ту же картину—мать и крепко вцепившихся в нее троих детей. И тогда они пошли на хитрость — предложили матери на минутку выйти из машины, чтобы подписать какой-то протокол. Понятно, что как только она вышла из машины, дверь захлопнулась. Машина рванула с места, неизвестно куда увозя кричащих детей. Мария бросилась к машине, но было уже поздно, и она упала почти в беспамятстве.

Юра и его сестры, не отходя друг от друга, пробыли в распределителе НКВД не более недели. Не знаю, каким чудом младшей сестре Марии Игнаткиной разрешили взять детей на воспитание, и они таким образом избежали детдома. Тетка раскидала своих племянников по родственникам: Юра сначала жил в Красноярске, затем в Иркутске, и лишь незадолго до начала войны вернулся в Читу к сестрам, старшая из которых к тому времени уже работала. А вскоре он поступил в ШВТ, где мы с ним познакомили и подружились.

Мария Игнаткина после того, как машина умчала ее детей, не находила себе покоя — их последний крик во дворе управления НКВД стоял в ушах днем и ночью, доводя до безумия. И она в конце концов надломилась, решив покончить с жизнью. Когда ее вместе с очередной партией заключенных привели на читинский вокзал для этапирования в уготованный для нее лагерь и когда в ожидании своего поезда они сидели на корточках, по первому пути к вокзалу подходил «Ученик», так в то время называли пригородный поезд, Мария в каком-то безумном порыве рванулась к краю перрона, но за мгновение до, казалось бы, неизбежной смерти чья-то сильная рука схватила ее за волосы и опрокинула на перрон. Это была Соня Кудрич.

— Слушай, Мария, чтобы это было в последний раз,—сурово произнесла Соня, увидев, что подруга уже очнулась и в состоянии осмыслить ситуацию.— Не позорь детей, мы должны выжить всем врагам назло. Хотя бы во имя наших де(гей). И мы еще встретимся с ними, все станет на свое место, и верь мне, Мария, правда все равно восторжествует

...Потянулись довольно унылые, однообразные дни учебы. Сначала все было странно, непривычно и тяжело, особенно этот военный уклад жизни, но постепенно мы все втянулись в эту новизну.

По воскресеньям, если за предшествующую неделю обошлось без доек и дисциплинарных взысканий, курсанты получали увольнительные записки, и до вечерней поверки могли проводить время по своему усмотрению. Эти воскресенья я обычно проводил в семье Геры, но однажды произошло событие, которое лишило меня и этой единственной возможности хоть изредка бывать среди родных.

Как-то в конце этого первого военного года я приехал к Гере и от заплаканной тети Ани узнал, что Гера призван в армию. Но самое ошеломляющее в ее рассказе было то, как он был призван! Оказывается, в соответствии с указаниями свыше всем лицам «подозрительного» или «не внушающего доверия» происхождения было предложено в течение 24 часов рассчитаться на работе, собраться и прибыть в указанный в повестке пункт для прохождения военной службы. Разумеется, при этом не сообщалось, что призывники проходят по категории «подозрительных», и потому поначалу этот призыв был воспринят как обычная очередная мобилизация, правда, чуточку смущал чересчур уж широкий возрастной диапазон призывников да обилие нерусских фамилий. Ну, а Гера в этом плане представлял собой просто классический образец подозрительной личности—одно имя чего стоит—Герман; вспомнили, наверное, и репрессированного брата. И Гера, до сих пор не державший в руках никакого оружия, снимавший очки по причине близорукости только перед сном, за одни сутки превратился в солдата, причем в солдата штрафного батальона, сформированного из таких же бедолаг, как и он сам. Всех этих «штрафников» за пару недель научили кое-как стрелять из винтовки, кое-как понимать военные команды и отправили на передовые позиции отмытая своей кровью «грехи» Неудачного происхождения. И когда этот штрафной батальон бросили в атаку впереди наших регулярных подразделений, на всякий случай державших их на мушке, Гера в этом же первом бою был тяжело ранен, эвакуирован в прифронтовой госпиталь. Там его подлечили-подштопали и уже только после этого, как смывшего кровью «грех» перед родиной и получившего прощение, направили в регулярную артиллерийскую часть. Гера воевал еще почти год и, наверное, воевал хорошо, потому что когда осенью 1942 года где-то в Прибалтике его настигла смерть, он был уже, как сообщалось в похоронке, командиром орудия в звании старшего сержанта.

Но я забежал вперед. После того как Геру взяли в армию, я продолжал ходить к тете Ане по воскресеньям, узнавал новости о Гере из его фронтовых треугольников, в которых он всегда передавал мне приветы и интересовался моими делами. Однако мои посещения становились все реже и реже, так как я стал замечать какой-то холодок с ее стороны. Сначала я относил это за счет того, что жизнь тети Ани стала значительно тяжелее, она вынуждена была перейти на вечернее отделение института и снова устроиться учительницей; к тому же карточная система: есть и так нечего, а тут еще лишний едок, которого нужно накормить обедом. Но вскоре я убедился, что дело не только в этом.

Как-то, придя к ней, я вдруг обнаружил, что из комнаты исчезло пианино.

— Тетя Аня, а где пианино?—удивленно спросил я.

— Я его продала,— спокойно и как бы мимоходом ответила она. Я несколько растерялся, но, поборов смущение, продолжил:

— Но как же так? Ведь это... мое пианино. Гера говорил, что когда я вырасту, я могу его взять...

— Оно такое же твое, как и мое,—с раздражением ответила тетя Аня.— Это Герино пианино, он его спас и он его хозяин. Что он тебе говорил, я не знаю, но мне он написал, что если будет тяжело с деньгами или едой, то я могу продать все, что посчитаю нужным. Вот я и посчитала нужным продать пианино, оно нам сейчас

совершенно не нужно.—И, помолчав немного, добавила:—Вернется Гера с войны, с ним и разговаривай на эту тему... Если вернется, конечно.

Я промолчал и вскоре простился, но пошел не в казарму, а к Лежанкиным, живущим рядом. Я и раньше иногда заходил к ним, они меня приветливо принимали, по крайней мере, дядя Шура. Надо признаться, что я приходил к ним в основном с единой целью — покушать.

В то время я всегда хотел есть. Хотя курсантов худо-бедно кормили три раза в день, получали мы по 700 граммов хлеба, но мы постоянно были полуголодными. И поэтому в программе моих воскресных увольнений проблема отобедать на стороне занимала одно из первых мест. В таких случаях обед я либо продавал (у нас была строго установленная такса на завтрак, обед и ужин), либо поручал кому-нибудь из курсантов взять мой обед, безвозмездно съесть суп, а второе и хлеб принести и поставить в тумбочку. Это давало возможность славно попировать вечером или на следующий день.

Жили Лежанкины очень хорошо, несмотря на условия военного времени. Шура, как настройщик высокой квалификации, да к тому же единственный специалист, был нарасхват и зарабатывал большие деньги. Он был настолько авторитетен среди своей высокопоставленной клиентуры, что когда мобилизация коснулась и его, то командующий Забайкальским военным округом, чей рояль Шура поддерживал в совершенном состоянии, оставил его солдатом при штабе округа, причем этот «солдат» продолжал заниматься своим делом и жил дома, иногда для формы появляясь в подразделении, к которому был приписан. А жена Шуры, вероятно, тоже не без протекции высокопоставленных лиц, заведовала магазином военторга, обслуживающим высшее военное начальство. Так что, несмотря на карточную систему, покушать у них было что. Поборов некоторое смущение, заявлялся я к ним где-то поближе к обеду.

— А, Горик пришел, проходи,— радушно встретил меня Шура и на этот раз.— А мы как раз собираемся обедать. Вовремя пришел, пообедаешь с нами.

Конечно, Шура не мог не заметить в моих визитах некоторую закономерность, но его теща, старушка вредная и скупая, уже давно раскусив «случайность» моих посещений, посматривала на меня, как на явного, бессовестного дармоеда. Я старался не обращать на нее внимание и держаться поближе к Шуре. На этот раз фаршированный сазан, с которым, как я заметил, злобная старушка возилась на кухне и который, судя по запахам, был великолепен, интересовал меня меньше.

— Знаю, Горик, знаю,—с горечью сказал Шура, когда я рассказал ему о пианино.— Я уже высказал этой женщине все, что я о ней думаю. Ноги моей больше не будет в ее доме и у меня ей делать нечего...— Шура волновался, и было видно, что он переживает за своего друга.— Но ты еще не все знаешь, Горик,— продолжал Шура—Она выкинула подлость похлеще этой. То ли кто-то ей посоветовал, то ли по собственной инициативе, но, зная, как и почему Гера очутился в штрафном батальоне, она подала заявление, в котором написала, что она, как член партии и патриот своей родины, не считает возможным быть женой человека с запятнанной репутацией, искренне сожалеет о том, что когда-то вышла замуж за такого человека, а потому просит считать брак расторгнутым. Представляешь? А Гера шлет ей письма. Не знаю—сообщать ему об этом или нет...

Шура решил, что лучше пока не сообщать, и меня просил пока помалкивать. — Может, она еще одумается и заберет назад это заявление, или ей вернут его без всякого решения, а мы будем беречь ему душу... Там и без этого не сладко.

Месяца через три Геры не стало, и мне так и неизвестно—узнал он о предательстве своей жены или нет...

...Вот и закончен первый курс, но вместо привычных каникул нас на все лето вплоть до нового учебного года направили на различные работы. Вообще за все годы моего пребывания в ШВТ сама учеба не оставила каких-либо ярких воспоминаний—обычный рутинный процесс,—но вот эти работы запомнились. Разумеется, они были вызваны необходимостью военного времени—рабочие руки требовались везде. Бывало, и во время учебного года нас снимали с занятий и в авральном порядке бросали на погрузочно-разгрузочные работы (особенно часто на разгрузку леса), которые продолжались иногда по двое-трое суток—одна часть курсантов работала, другая тут же спала, и так поочередно. Работали до изнеможения, спать валились как мертвые, даже забывая о еде.

После окончания первого курса большую партию направили на Дальний Восток на побережье Японского моря и близлежащие острова ловить и обрабатывать рыбу. Некоторых направили на сельскохозяйственные работы в совхозы Читинской области. Я с бригадой попал на лесозаготовки недалеко от станции Карымская. Не знаю, за какие грехи или заслуги меня назначили бригадным поваром, и я в течение двух месяцев готовил из наших скудных продовольственных запасов завтраки, обеды и ужины, ухитряясь делать их еще и съедобными.

Летом следующего года несколько групп, в том числе и нашу, послали на работы в совхоз «Красный Ималка», в одно из его отделений, находящееся совсем близко от границы с Монголией; до ближайшей к нам пограничной заставы было не более километра. Время от времени мы отваживались нарушать эту границу, переползая ночью вспаханную нейтральную зону. Эти «нарушения» носили самый мирный характер — мы ловили там тарбаганов, небольших степных животных, похожих на сурков, и разнообразили ими наше в основном овощное меню. Нас предупреждали, что эти зверьки могут быть заражены чумой и потому ловля их запрещена, однако их ловили не только мы, но и местные жители и доловились до того, что на нашей стороне их просто не стало. Но зато на монгольской стороне их никто не трогал, и там они водились в изобилии. Первой ночью мы ставили капканы у тарбаганных норок, а на следующую ночь тем же манером снова пересекали границу и возвращались с добычей. За все время пребывания здесь только однажды пограничники задержали двоих наших ребят. Вышла целая история, ибо о «нарушителях» государственной границы по всем правилам доложили по инстанциям и отпустили их через несколько суток только по распоряжению самого Ворошилова.

Таким же образом в сочетании учебы и работы прошел третий год обучения, а окончание последнего, четвертого, ожидалось в следующем, 1945-м, когда должны были закончиться и отмеренные моей матери восемь лет. Такое совпадение сроков радовало, ибо мы могли одновременно начать нашу новую жизнь, но уже совместно. Я получал от мамы по письму в месяц, был в курсе ее лагерной жизни и с каждым полученным письмом вел счет оставшимся дням. Неожиданно пришло

печальное сообщение о смерти моей бабушки Агнии Михайловны. Умерла она в полном одиночестве среди чужих людей, и как стало известно уже позднее, умерла от голода. То ли она потеряла, то ли у нее украли, но она лишилась всех карточек — и хлебной, и продовольственной—а для нее это был единственно возможный источник питания. Сначала она еще что-то продавала из своих немудрящих вещичек, но потом уже и на это не хватило сил. Она и умерла так же тяжело, как тяжело прожила всю свою слишком уж неудавшуюся жизнь.

Мир праху ее...

Не успели мы и месяца прозаниматься на четвертом курсе, как всю нашу группу под предлогом производственной практики отправили на Урал на монтаж электрифицированного участка железной дороги Челябинск—Златоуст; я попал на монтаж тяговой подстанции в Златоусте. Наша «практика» настолько затянулась, что вместо планируемых двух месяцев нам пришлось встретить на Урале не только новый год, но и долгожданный День победы.

Мы все дружно взвыли и забросали наше начальство письмами, полными упреков в том, что о нас забыли, бросили на произвол судьбы. Это было правдой, потому что все мы изрядно пообносились, пооборвались, пораспродались, жить так далее было просто невозможно. Мы просили немедленно отозвать нас домой в Читу. Когда в июне нам разрешили выехать, и, собравшись всей группой в Челябинске, мы сели в поезд, то своим видом, да, признаться, и поведением, соответствующим нашему виду, наводили страх и на пассажиров, и на тех аборигенов промежуточных станций, которые имели неосторожность выйти поторговать к поезду» именно тогда, когда мы выходили на перрон с диаметрально противоположным намерением — приобрести что-нибудь из принесенного, но за «безналичный расчет»; такой вид расчета был для нас не только удобным, но и уже единственно возможным. Форма у нас была почти военная, довольно живописная от дыр и грязи, нас принимали за демобилизованных солдат, дорвавшихся до мирной гражданской жизни, и потому мудро воздерживались от выяснения отношений—черт с ним, с этим ведром вареной картошки, с этими творожными шаньгами, с этим тазом, в котором находились шаньги — все-таки своя жизнь дороже.

Когда мы появились в родных стенах ШВТ, на нас сбежались смотреть со всех курсов, и это было зрелище... Хорошо сознавая производимый эффект, мы еще в поезде озорства ради и в знак протеста решили усилить его, для чего специально дорвали до нужной кондиции все, что пока оставалось целым. И когда наш старшой зашел в кабинет начальства отрапортовать о нашем благополучном прибытии, мы демонстративно уселись по-турецки вдоль стен по обе стороны коридора, рядом положили свои живописные вещевые мешки, кое-кто для полноты картины снял рваную обувь и тоже поставил рядом. Мы сидели молча, сосредоточенно, невозмутимо как бы в полной прострации.

Эффект был потрясающий, а кульминация наступила тогда, когда из дверей кабинета вышел начальник школы в сопровождении нашего старшого, доложившего, что «группа для встречи построена». Все в конце концов окончилось благополучно, начальник школы был хороший человек, с чувством юмора, и все же малость переигравший Юрка Игнаткин угодил на трое суток на гауптвахту. Для получения нового обмундирования полагалось сдать старое, а так как у некоторых его не было, начальник школы предложил для формальности написать

объяснительные записки на его имя, дескать то-то и то-то было утрачено там-то и при таких-то обстоятельствах. Все более или менее вразумительно написали, а Юрка в своей объяснительной записке доверительно сообщил, что он, к сожалению, лишен возможности сдать свои обноски лишь по той простой причине, что посчитал нецелесообразным таскать рвань по Союзу и без сожаления оставил ее славному городу Челябинску в память о своем кратковременном пребывании там...

В связи с восьмимесячным перерывом в учебе срок обучения нашей группе продлили до весны 1946 года, и в то время, как для курсантов нашего набора, но других специальностей, I в июле 1945 состоялся первый выпускной вечер, мы на нем присутствовали только как гости и с сентября снова впряглись в учебу.

Эта задержка с окончанием ШВТ сначала меня изрядно огорчила, так как ломала запланированную встречу с мамой, но совершенно неожиданно для меня и мамы Алжир тоже продлил свое «гостеприимство».

Настал, наконец, тот долгожданный выстраданный день, когда счет оставшимся дням кончился и продолжился уже со знаком минус. Все страшно волновались и от ощущения близкой свободы, и от того, что свобода почему-то задерживается. Но вот где-то дернули за ниточку, наших «восьмилеток» начали по одной вызывать в контору лагеря и объявлять об окончании срока заключения. Оформили кое-какие бумаги, но вместо того, чтобы тут же отпустить на все четыре стороны, предложили пока только переселиться в свободный барак за зоной. Таким образом — переходом из одного барака за проволокой в другой барак без проволоки—были «освобождены» все, кто отсидел свои положенные восемь лет, да еще и с хвостиком. Все разместились так же, как и раньше—мама и Настенька, разумеется, опять-таки рядышком (Валечке срок еще не вышел); старостой «свободного» барака по-прежнему оставалась Соня Кудрич.

Вот это место в моем повествовании одно из наиболее «темных». Я и ранее не мог ответить на ряд «почему?» — и вот теперь тоже не знаю. Почему их освободили столь условно, если вообще это можно назвать освобождением?

Практически в их жизни ничего не изменилось, если не считать «охранно-проволочного» аспекта. Все продолжали трудиться на прежних местах — кто на швейной фабрике, кто на полях, мама так же работала в столовой: так же кормились, так же одевались, никто никуда не имел права выехать. А ведь где-то их уже давно ждали уцелевшие родные, ломая голову — почему не едут, в чем дело? «В чем дело?» — спрашиваю и я себя сейчас, почти через полвека. Мама тоже не знает, или не помнит, и ничем не может мне помочь в объяснении причин такой «свободы». Весь ее ответ на мои настойчивые расспросы сводится к одному — вызвали, объявили об освобождении, велели переселиться, ждать дальнейших указаний, а пока работать на своих местах и никуда не уезжать; да и куда уедешь—ни документов, ни денег...

Я начинаю думать, что эти восемь лет в условиях тюремной и лагерной жизни, под гнетом той вопиющей несправедливости, что была допущена в отношении их мужей, их самих и их детей, начисто подавили в них способность чувствовать себя личностями, от которых в этой жизни что-то еще может зависеть, начисто вытравили даже элементарную способность удивляться, возмущаться, настаивать, спрашивать. Их сделали покорными и равнодушными к любой указке сверху, как

бы нелепа и неприятна эта указка ни была. Да, эта «алжириада» еще ждет своих исследователей...

Пока мама наслаждалась дарованной ей «свободой» у стен Алжира, я продолжал грызть гранит науки » стенах ШВТ. Этот последний период моей учебы особенно памятен мне событием, которое не только отравило мою тогдашнюю жизнь, но и во многом определило ее на долгие годы.

В ШВТ существовала традиция — ежемесячно каждая из трех рот по очереди устраивала вечера самодеятельности. На последнем курсе руководителем самодеятельности в нашей роте выбрали меня, чему я, очевидно, был обязан своим незаконченным музыкальным образованием. Между ротами шло соперничество, и мы пока держали первое место

В конце ноября должен был состояться последний в этом году наш концерт, и мы вовсю готовились, чтобы не ударить лицом в грязь. Такие вечера обычно устраивались в воскресенье, и этот день как раз очень удобно приходился на 1 декабря; мы заранее согласовали с замполитом школы день проведения вечера и расклеили афиши. Накануне после занятий мы остались в клубе, чтобы украсить зал и что-нибудь в последний раз отрепетировать. Тут неожиданно появился замполит и объявил, что вечер переносится на следующее воскресенье, так как 1 декабря—день памяти С. М. Кирова и, дескать, грешно веселиться в такой траурный день. Мы все были раздосадованы до предела, каждый по-своему выражал свое неудовольствие, но больше всех, пожалуй, был огорчен я, и как руководитель самодеятельности, и как исполнитель сольного номера, мной же придуманного. Я что-то сгоряча брякнул в том смысле, что каждый день умирают тысячи людей, и ничего—жизнь не отменяется и не переносится. Сейчас я понимаю, что эта фраза была по меньшей мере бестактной и не совсем к месту, но чего не сболтнешь по молодости, да еще в расстроенных чувствах. Через неделю наш концерт состоялся, все прошло благополучно, и я быстро забыл огорчение недельной давности.

Как-то в начале января я встретил в школе одного бывшего курсанта, выпускника прошлого года. Раньше мы его звали просто Мишкой. В свое время он был довольно известной личностью. Прежде всего он обращал на себя внимание своей внешностью: маленького роста, смуглый, с очень некрасивым лицом, на котором сразу же бросался в глаза широкий приплюснутый почти без переносицы нос. Но он был великолепно ^сложен, все его тело представляло удивительное сплетение мышц. Когда Мишка занимался :на брусках или перекладине, то равных ему в школе не было. Мы с восхищением смотрели, как он крутил «солнце» или застывал в стойке на руках!

К моему удивлению, он еще издали заулыбался, увидя меня, и еще больше удивился, когда выяснилось, что ищет он именно меня.

—Что ты сегодня вечером делаешь?—поздоровавшись, спросил Мишка.

— Да ничего особенного.

— Вот и хорошо,—продолжал Мишка,—я бы хотел с тобой встретиться часов в шесть. Сможешь?

— Смогу,—ответил я, удивляясь, зачем это я ему вдруг понадобился.—А в чем дело?

— Тебя приглашают на беседу в районное отделение НКВД, а меня попросили сказать тебе об этом.

Уточнив, где находится это заведение и как туда пройти, Мишка продолжал.

— Я буду ждать тебя в 6 часов у входа. Вместе и зайдем.

— Послушай, а что я там забыл?—с удивлением спросил я.— И при чем тут ты?

— Да ты не бойся,—ослабился Мишка в дружелюбной улыбке,— просто хотят с тобой побеседовать, всего и делов-то. Ну, а что касается меня, так я там работаю; после окончания ШВТ меня направили на работу в НКВД, присвоили звание младшего лейтенанта, сейчас я в должности оперуполномоченного по этому району, так что вы все вроде как мои подопечные.

Мы перекинулись еще несколькими фразами, причем я в обращении к Мишке уже невольно перешел на «вы», и расстались. Уходя, он посоветовал мне никому не рассказывать об этом разговоре и о приглашении на беседу. Конечно, все это меня встревожило, но не очень. Дело в том, что я уже знал о подобных вызовах, ибо как раз в это время велось следствие по обвинению нескольких курсантов в подделке хлебных карточек. Я к этому делу не имел никакого отношения, не располагал информацией и поэтому; был сравнительно спокоен...

Когда мы с Мишкой, одетым уже в форму с погонами младшего лейтенанта, вошли в кабинет того, кто хотел со мной побеседовать, сердце у меня предательски екнуло. Уж очень все было похоже на то, что когда-то рассказывала бабушка о своем знакомстве с НКВД. Я как увидел стол с обязательной настольной лампой, сидящего за ним в полумраке сотрудника в звании капитана и одинокий стул перед столом, но не рядом, а эдак метров в двух, особняком, так и вспомнил бабушку.

После нескольких формальных фраз, никак не проливающих свет на действительную причину вызова, капитан быстро перешел к делу, и тут уж я понял, что дела мои плохи и я здесь отнюдь не в качестве свидетеля.

— Расскажи о своих родителях,—сверля меня глазами, жестко произнес он. Он с самого начала повел разговор в грубом тоне, обращаясь на «ты», решив, очевидно, что самое верное для достижения цели — это сразу же запугать меня.

— Только не ту липу, что имеется в делах ШВТ, ее мы знаем,—добавил он с легкой иронией,—а как оно есть на самом деле.

После такой ремарки мне стало ясно, что «как оно есть на самом деле» он знает не хуже меня и если спрашивает об этом, так только в надежде, что я начну врать и запутаюсь в его сетях. Я коротко рассказал о судьбе отца, о том, что у мамы уже закончился срок лагерной изоляции и что как только я закончу школу—осталось всего три месяца—она приедет ко мне.

— А зачем же врал при поступлении в ШВТ? Почему скрыл такие важные факты биографии? Ведь так, пожалуй, можно и не закончить ШВТ...— многозначительно произнес капитан, оценивая эффект своих вопросов.

Я был раздавлен, не зная, что и отвечать, и честно признался: не скрой я правду о своих родителях, меня просто не приняли бы в ШВТ.

— Сын за отца не отвечает!—робко промямлил я.— Об этом и в газетах писали...

— Писать-то писали, но это не о каждом сыне сказано, и тем более не о тех, кто ведет вредные разговоры, подрывающие авторитет нашей партии и правительства. А ты вроде как раз из них...

— О чем это вы говорите?—уже не в силах сдержать слезы, выговорил я.— О чем это вы, какие разговоры?

— Короткая у тебя память, придется напомнить,— он взял со стола какую-то бумажку, пробежал ее глазами, и затем снова уставился на меня.— Ведь это именно ты накануне дня памяти Кирова распространялся насчет того, что-де стоит ли горевать и печалиться по поводу гибели и агитировал курсантов отметить этот день концертом и танцами. Было дело?

Я никак не мог вспомнить, что же на самом деле я говорил в тот злополучный день, и хотя я был совершенно уверен, что никакой агитации я не вел, но возразить, убедить, что это передернутые кем-то слова, не мог и некоторое время сидел, мучительно соображая, что же я такого ляпнул?

Очевидно, сотрудник НКВД принял мое молчание и растерянный вид за замешательство припертого к стенке преступника, которому и оправдаться-то нечем.

— Я вижу, мне удалось освежить твою память, и твоей стороны было бы просто глупо отрицать, запираяться и врать, на что, судя по всему, ты мастак. И потом учти, что мы за тобой уже давно следим. У нас среди курсантов есть добровольные помощники, и они ставят нас в известность о всех твоих выходках, которые, в том числе и эта последняя, характеризуют тебя если и не врагом советской власти, то, по крайней мере, человеком неблагонадежным. Тебе, пожалуй, придется крепко подумать о том, как доказать, что тебе можно доверять и, в частности, дать возможность окончить школу, куда ты пролез обманным путем...

Я было попытался возражать, но он сразу же перебил меня и в дальнейшем попросту не давал говорить, продолжая варьировать тему о моей неблагонадежности. Я сидел с обреченным видом, швыряя носом и утирая слезы. Увидев, что я уже вполне созрел для дальнейшей обработки, он вдруг «подобрел», и в его последующем монологе даже стали проскальзывать «дружелюбные» нотки.

— Ну, ладно, ладно, успокойся. Возьми себя в руки. Не будем делать поспешных выводов, ты еще молод, у тебя все еще впереди. Только ты сам можешь

доказать, что мы ошибаемся в оценке тебя. Кстати, мы можем и помочь тебе в этом. Для начала я предлагаю тебе сотрудничать...

Дальнейший разговор протекал по схеме, когда-то рассказанной бабушкой; отклонения были только в деталях. Закончилась беседа тем, что меня принудили собственноручно написать подписку о моем «добровольном» сотрудничестве с НКВД с обязательством сохранять это сотрудничество в тайне. Таким образом, коллектив осведомителей, работающий на НКВД среди курсантов ШВТ, пополнился еще одним под кличкой! «Пушкин», чему я был обязан своими курчавыми волосами ну и, конечно, остроумию капитана.

— Ну, а о форме и деталях нашего сотрудничества вы договоритесь с младшим лейтенантом Лесковым, с ним ты теперь и будешь иметь дело,—сказал на прощанье капитан, указывая в сторону Мишки, который продолжение всего этого разговора молча сидел в стороне и, очевидно, с пользой для себя проходил практику в своей новой работе.

Инструктаж Мишки был кратким—он дал мне адрес дома, где мы один раз в неделю должны будем встречаться, чтобы я мог передавать ему свои «произведения» за подписью «Пушкин». Дом этот был недалеко от нашей казармы на той же Привокзальной улице. Ранее я сотни раз проходил мимо этого небольшого деревянного строения, не ведая, что этот невзрачный частный домишко на самом деле одна из конспиративных квартир НКВД. Из всех читинских домов он стал для меня самым ненавистным. Мне приходилось ежедневно по нескольку раз проходить мимо него, и каждый раз я невольно подсчитывал число дней, оставшихся до моего очередного посещения этого дома. Вообще, с этого времени вся моя жизнь стала проходить под знаком посещений; все мои мысли с утра до вечера были заняты решением одной проблемы—как бы сделать так, чтобы не ходить туда и не видеть ненавистную Мишкину морду. Лучше всего было сказать больным, и я не раз прибегал к этой уловке, пока мое симулянтство не стало явным. Прекрасным способом было заработать накануне посещения пару суток ареста на гауптвахте, но это было намного сложнее, и однажды я не рассчитал степень проступка и вместо планируемых двух схватил пять суток губы. К тому же в последние месяцы учебы в ШВТ нельзя было еженедельно нарываться на наказания. И выходило так, что долбившая мои мозги проблема суживалась до решения более частной задачи—коль скоро от этого посещения не отделаться, то с чем идти, о чем рассказывать Мишке? А тот просто свирепел, когда я в очередной раз приходил «с пустыми руками», грозился снова устроить встречу с капитаном, вновь и вновь советовал прислушиваться и присматриваться не только к курсантам, но и к знакомым вне школы.

А я, между прочим, и без его совета уже начал «прислушиваться и присматриваться» к товарищам, но не для сбора компрометирующего материала, а для того, чтобы узнать—кто же из них тоже осведомитель. Ведь кто-то же донес на меня. После нескольких дней наблюдения я не сделал для себя никакого определенного вывода, но пришел к неутешительной мысли, что таким осведомителем потенциально мог быть за малым исключением каждый из нашей группы. Но Мишке нужен был «материал», а не мои заверения, что никакие вредные разговоры среди сокурсников не ведутся, что сегодня единственные помыслы всех нас—это успешно закончить школу и сдать госэкзамены. Иногда я всю неделю ломал голову и придумывал для Мишки какие-нибудь безобидные донесения и

окончательно выводил его из себя сообщениями о том, что, например, «такого-то числа в такое-то время курсант N сказал, что в последнее время стали давать слишком жидкие щи, и это свидетельствует о воровстве картофеля и капусты работниками столовой» или «такого-то числа после окончания лекции на тему «О питательности крапивы, используемой в пищевом рационе», которую прочитал для курсантов ШВТ приглашенный лектор, курсант М. ехидно заявил: «Неужели этот лектор отрастил такое брюхо, питаюсь исключительно крапивой»?

Это были очень тяжелые для меня месяцы, последние перед окончанием ШВТ. Этот дурацкий «альянс» с НКВД угнетал меня: я просто устал жить в постоянном напряжении, устал все время что-то придумывать и всячески выкручиваться из этих «ежовых рукавиц». в; Единственным светлым маяком была мысль, что скоро и все это должно кончиться само собой, так как не за горами выпуск, а я уж постараюсь, чтобы меня распределили подальше от родной Читы, которая с каждым днем все более и более становилась злой мачехой. Вся эта история во многом повлияла и на мои окончательные успехи—государственные экзамены, которые закончились в середине марта 1946 года, я сдал значительно ниже своих возможностей.

ГЛАВА 12

Столь же короткая, как и мое посещение Алжира, но, к счастью, только в качестве гостя...

В конце марта состоялся выпускной вечер, после которого всем выпускникам до окончательного распределения по местам будущей службы был предоставлен двадцатидневный отпуск. Все разъехались по домам, а я, используя право на бесплатный проезд, взял билеты до Акмолинска и обратно, чтобы посетить далекий Алжир, где все еще продолжалась «свободная» жизнь мамы.

Мой приезд в Алжир не был для нее сюрпризом. Мы заранее списались, и мама уже знала, что где-то в первых числах апреля я должен приехать, хотя точная дата приезда не была нам известна — путь не ближний, да еще с двумя пересадками. Мое посещение Алжира планировалось не только лишь как свидание после долгой разлуки, но и преследовало более серьезную цель, а именно—увезти маму с собой, тем более, что официально она уже давно была освобождена: мы оба считали, что мой приезд позволит ускорить события и поставить на Алжире точку. Сборы были недолги — нищему собраться — только подпоясаться, и я, недолго мешкая, отправился в свой неближний путь.

В своем последнем письме мама подробно расписала мне, как и куда я должен идти со станции Акмолинск, чтобы поймать какой-нибудь транспорт в сторону Алжира — между лагерем и городом почти ежедневно что-нибудь ездило, чаще

всего конные телеги. Этот вид транспорта был даже удобней, так как был «свой» — лошадьми управляли женщины из числа освобожденных алжирок, которым негласно вменялось в обязанность подбирать всех желающих посетить этот благословенный уголок. Таких желающих из числа родственников и близких после «освобождения» становилось все больше и больше.

Поезд прибыл удобно, рано утром, но Акмолинск встретил меня явно неприветливо. На условленном месте я не нашел никакого транспорта до Алжира и, прождав несколько часов, начал испытывать понятное беспокойство—время шло, впереди все-таки 40 километров незнакомой дороги и ее нужно преодолеть засветло. А тут выяснилась еще одна неприятность — как обычно в это время года, после таяния снегов разлилась река Ишим и затопила часть дороги между Акмолинском и Алжиром; очевидно, по этой причине и не было транспорта.

Я принял решение не терять времени и идти пешком, уточнив маршрут у местных жителей. Вещей с собой было немного — лишь небольшой фанерный чемоданчик с кое-какой одеждой. Закрепив его веревками за спиной в виде походного ранца, я двинулся в путь.

Если бы мне не помогли ориентироваться изредка встречающиеся местные жители, чаще всего казахи, я бы непременно заблудился, так как в низинах дорога была залита водой и местами ее не было даже видно. Как я потом узнал, под водой оказался участок шириной почти восемь километров, и когда я уже под вечер добрался, наконец, до Алжира, который еще издали узнал по его архитектурному стилю, то еле держался на ногах.

Мне не пришлось раздумывать, куда и к кому обратиться, чтобы разыскать маму, так как только я появился в районе застроек, меня остановила первая же встретившаяся женщина.

— Ты к кому, хлопчик? — мягко пропела она, разглядывая меня.

— Я приехал к Поль Капитолине Николаевне. Вы не скажете, как мне ее найти?

— Господи, так это же к Капочке! Радость-то ей какая! А она уже все очи проглядела, тебя высматривая. Почикай трошечки, я зараз ее пошукаю,— мешая русские и украинские слова, моя собеседница—явно «посланец» Украины—стремглав бросилась к большому барaku, стоявшему поодаль.

Вскоре она вышла из барака в сопровождении другой женщины, и я даже взмок от волнения, полагая, что это бежит ко мне моя мама, почему-то совсем не похожая на тот образ восьмилетней давности, запечатленный моей памятью. Но это оказалась Настенька, а мама, как она мне сообщила, находится сейчас в зоне, кормит ужином заключенных.

— Пойдем к проходной, я сейчас ее вызову. Настенька схватила меня за руку и потащила за собой. Она о чем-то переговорила с караульным, тот пропустил ее в зону, а я стоял ни жив, ни мертв, ожидая и боясь встречи...

Я думаю, что если бы мы повстречались где-нибудь в другом месте, не предполагая возможности такой встречи, мы бы не узнали друг друга. Маме было бы труднее узнать меня, я и сейчас, когда она подбежала ко мне, увидел в ее глазах удивление. И не мудрено: ведь она оставила меня одиннадцатилетним пацаном, эдаким пай-мальчиком с румяным лицом и в коротких штанишках, а тут перед ней стоял почти двадцатилетний взрослый детина в военной форме выше ее ростом. Есть от чего растеряться, тем более что фотографиями мы в те годы не обменивались, было не до них. Но я-то узнал ее сразу, как только она выбежала из проходной; конечно, это она, только постарела немного.

Мама привела меня в свой барак, и мы уселись на нары, там, где помещались ее и Настенькина постели. И тут к нам началось целое паломничество, каждой было интересно посмотреть, что за сын у Капочки. Настенька даже стала их прогонять, дескать, нечего смущать гостя, увидите еще. А мама побежала снова в зону, и не знаю, как это ей удалось, вскоре вернулась с Валечкой. Снова объятия, снова слезы, и наконец, мы все вчетвером засели за праздничный стол в честь дорогого гостя. Для этого нам пришлось завернуть постели, застелить нары чистым полотенцем, и на этот замечательный стол мама выложила свои припасы, специально дожидавшиеся моего приседа.

Это был действительно замечательный по тому времени стол, и среди яств, аппетитно разложенных перед нами, я до сих пор помню пять сваренных вкрутую яиц с пятью кусочками сливочного масла, лежащих в центре. Они запомнились еще и потому, что мама, сервируя стол, рассчитывала по яйцу на каждую даму, а два мне, но за оживленным разговором я так увлекся, что незаметно слопал все пять яиц, и когда дамы вспомнили об яичках, их уже не было.

Потом мама договорилась с Соней Кудрич относительно моего ночлега, имея в виду, что я пробуду здесь дня три-четыре. Соня сделала кое-какие переселения и для меня освободили место с края, а чтобы не смущать меня соседством женщин, это место с трех сторон огородили простынями, так что я спал хотя и на нарах, но вроде бы как в отдельной каюте. Так же легко на следующий день решили проблему моего питания. Я обедал во внезонной столовой, а завтраки и ужины мама оставила за собой, устраивая их в моей каюте, и возможность вновь кормить меня, как когда-то восемь лет назад, доставляла ей безмерное наслаждение.

Мама старалась как можно больше быть со мной, ей каким-то образом удавалось сочетать это со своей работой, и у нас было достаточно времени, чтобы и перевернуть прошлое, и оговорить ближайшие перспективы. Планы были просты: я возвращаюсь в Читку, получаю назначение куда-нибудь подальше (это было в обоюдных интересах), затем ко мне приезжает мама (не вечно же их будут держать в этом «приалжирье»), ну а дальше, как говорится, бог подаст. А еще лучше, если бы ей разрешили уехать отсюда прямо сейчас, вместе со мной.

С этой просьбой где-то на третий день пребывания в Алжире я пошел на прием к начальнику лагеря. Он принял меня любезно и так же любезно отказал в просьбе, мотивируя отказ одной причиной — на этот счет нет указаний сверху. Как только такие указания поступят, моя мать, как и все остальные «освобожденные», будут немедленно отпущены. На мои «почему?» он не дал никакого ответа, повторяя одно и то же — «нет указаний».

Надо сказать, что этот отказ не очень огорчил маму, она его просто ожидала. Не я первый приехал сюда и не я первый обратился с такой просьбой. К некоторым женщинам приезжали родственники, привозили с собой их детей, оставленных ими в младенческом возрасте. Теперь им было лет по десять, они совершенно не знали своих матерей, как и матери не знали детей. Матерей не отпускали, и некоторые, надеясь все-таки на скорое «второе освобождение», оставляли детей здесь. На этих-то алжирских нарах они и знакомились и заново привыкали друг к другу. Я видел несколько таких подростков. В основном это были девочки.

Мы решили не расстраиваться от полученного отказа и еще по ряду причин; а, вернее сказать, чтобы не очень расстраиваться, мы сами начали выискивать эти причины, подгоняя их под оправдание отказа, и неожиданно пришли к выводу, что это, пожалуй, даже к лучшему. Во-первых, мы оба совершенно не устроены— ни кола, ни двора, никакой родни, маме первое время даже и перебиться негде; во-вторых, как это и не странно, но я за эти несколько дней воочию убедился, что жизнь в Алжире, с точки зрения пропитания, была значительно легче и устроенное, чем на воле в тяжелых условиях первого послевоенного года; наконец, тут есть крыша над головой, нары под головой, рядом Валечка с Настенькой и еще двести подруг. Так что мы решили не горевать, а вроде бы с пользой для дела отложить наше воссоединение на ближайшее будущее, не зная, однако, кто из нас раньше будет для этого готов—то ли я житейски устроюсь, то ли мама освободится, в общем, поживем — увидим.

И все же возможность распрощаться с Алжиром существовала и без указаний свыше—так впоследствии случилось с Настенькой. Примерно через месяц после моего посещения Алжира к ней приехал зять из Саратова. Еще задолго до войны он окончил авиационное училище, был военным летчиком. В Саратове он познакомился с дочкой Настеньки, которую в тридцать седьмом взяла к себе тетка, спасая от детдома, а не-. задолго до войны, когда дочка Настеньки окончила десятилетку, они поженились.

Настенькин зять успешно воевал, дослужился до звания полковника, и когда появился в Алжире, то просто звенел от орденов и медалей. Ему, как почетному гостю, даже отдельную комнатку выделили. Он тоже, как и я, обратился к начальнику лагеря с просьбой забрать Настеньку. Но на этом аналогия и кончается. Не знаю, как у них протекал этот разговор, но только на следующий день наш brave полковник, уезжая из Алжира, увез с собой и Настеньку, причем, как рассказывала потом мама, с «чистыми документами». На мой вопрос, как следует понимать слова «чистые документы», мама пояснила, что в документах, выданных Настеньке, нигде не указывалось, что она была осуждена, как жена изменника родины, и отбывала восьмилетний срок в лагере. У мамы, когда дело дошло до документов, они были «грязные».

Так что наш старший лейтенант знал, когда нужно ждать указаний сверху, а когда можно обойтись и без них.

Об отце мы старались не говорить, слишком уж печальна и безутешна была эта тема. Но он сам напомнил нам о себе, причем не только напомнил, но и оказал нам помощь, и если бы отец мог знать с того света об этой своей помощи, то был бы счастлив. Несколько лет тому назад, когда мама была еще по ту сторону проволоки, ее вызвал начальник лагеря и сообщил, что на ее имя поступил

денежный перевод в 2500 рублей и эти деньги будут ей выданы после освобождения. Мама страшно удивилась, подумав сначала, что перевод выслан бабушкой, которая могла распродать оставшиеся ценные вещи и собрать такую сумму. Но все оказалось иначе. Оказывается, еще задолго до трагедии, постигшей нашу семью, отец втайне от мамы, желая, очевидно, когда-нибудь сделать ей сюрприз, оформил на ее имя сберегательную книжку, периодически делая небольшие вклады. Эту книжку он хранил на работе в сейфе, не желая, чтобы мама узнала о ней до времени. После гибели отца сберкнижка в конце концов попала в органы НКВД, и на ней к тому времени лежало 2500 рублей. Очевидно, и к счастью, эта книжка попала в руки честного, порядочного человека. Он нашел владелицу вклада, то есть мою маму, и переслал ей деньги.

Когда я уезжал из Алжира, мама пошла к начальнику лагеря и попросила разрешения взять половину денег, чтобы отдать их мне для обустройства. Эти деньги ей выдали. Стоит ли говорить, как они мне были кстати, столь же полезной была и вторая половина, когда, наконец, пришло время и маме распрощаться с Алжиром. Вот так, уже мертвый, папа помог нам в трудное время.

Провожали меня чуть ли не всё баракком. Совсем незнакомые мне женщины считали своим долгом пожелать счастливого пути сыну своей товарки по несчастью и долго прощально махали рукой, улыбались и плакали, думая, вероятно, что и их скоро навестит кто-нибудь, или о том, что не осталось уже никого, кто мог бы это сделать. Маме удалось устроить меня на подводку, отправляющуюся по делам в Акмолинск. Она долго провожала меня, мы шли за подводой, договаривая недоговоренное и, наконец, простились. До скорой встречи!

ГЛАВА 13

В которой Алжир уже остается за кадром, но «алжириада», к сожалению, все еще продолжается, а так хотелось поставить точку...

Ну вот, все получилось, как я хотел. Получил назначение на далекий Урал, в Нижний Тагил, где находилось управление 1-го участка энергоснабжения Свердловской железной дороги.

Конечно, нас не для этого готовили, но война кончилась, шла массовая демобилизация, и армия в наших услугах уже не нуждалась. Весь наш выпуск был распределен по железнодорожному ведомству. Все стремились остаться в Чите или поближе к ней. Пожалуй, я был единственным, кто настойчиво просился куда-нибудь подальше, так что мое назначение на Урал было легким. Меня совсем не тревожило, что там может ожидать меня, ибо уже одно то, что я не увижу больше ненавистной Мишкиной морды, которая начала уже сниться по ночам, что смогу выскользнуть из цепких лап НКВД или, вернее, МВД, поскольку совсем недавно эта

малопочтенная фирма сменила вывеску,—уже одно это приводило меня в неопиcуемый восторг. Мне не нужно было долго собираться, снимаясь с места, все мое было при мне.

Я простился с товарищами, нанес прощальный визит тете Ане и Лежанкиным и— прощай, родная Чита.

В начале мая сорок шестого по прибытии в Нижний Тагил я был назначен дежурным техником тяговой подстанции Свердловск-сортировочный и сразу же перебрался а Свердловск. Жилья там не было, и начальник подстанции, женщина средних лет по фамилии Фугаева, приветливо и с участием меня встретившая и сразу понявшая, что на частное жилье я не потяну, долго ломала голову, где бы меня устроить. В здании подстанции имелось одно служебное помещение, даже не помещение, а камера без окон и дверей, находящаяся на уровне второго этажа, в которой проходили различные трубопроводы; попасть в эту камеру можно было только через специальный люк с помощью приставной лестницы. Вот эта-то камера и была предоставлена мне в качестве временного жилья. Я затащил туда кровать, Фугаева снабдила меня постельным бельем, двумя одеялами, одно из которых я повесил на стенку вместо коврика. Было тепло, сухо, ярко светила электрическая лампочка. Налицо было даже явное преимущество перед другими—не надо было идти на работу, достаточно было спрыгнуть.

А другими были мои коллеги, дежурные техники и их помощники; все они были местными и жили в самом Свердловске. Дежурили мы по два человека и быстро перезнакомились. Между прочим, была среди них одна девушка по имени Тоня Хмурова, года на два постарше меня, и с ней я подружился особенно. О нас даже начали сочинять всякие истории, которыми перепугали. Фугаеву, но вскоре; все поняли, что мы просто друзья-товарищи и болтовня прекратилась.

Мы часто дежурили вместе с Тоней, по крайней мере, старались попасть в одну смену, в ночные смены ничто не мешало нам вести бесконечные разговоры. Я видел ее хорошее отношение ко мне, и как-то незаметно рассказал о своей жизни, о судьбе отца и матери, о всей своей семейной трагедии. Она была тоже откровенна, хотя ничего подобного в ее жизни не произошло—наши семьи находились как бы на противоположных полюсах. Но и ей рассказать было что. Это тоже было связано с периодом репрессий, но только, если можно так сказать, с другого конца. Отец Тони с молодых лет по путевке комсомола был направлен на работу в органы НКВД, дослужился до звания майора. Но когда во главе НКВД был поставлен Ежов, а затем Берия, когда эти изуверы начали карательные акции, применяя порочные методы, отец Тони, втянутый в этот репрессивный процесс, эти выбивания «признаний» у невиновных по роду своей службы, не вынес всего, психически надломился и был отстранен от работы. Вскоре он был помещен в психиатрическую больницу, в которой и находился уже несколько лет без каких-либо шансов на выздоровление. Тоня иногда навещала его, но он даже не узнавал ее...

Наконец после почти двухмесячного обитания в камере, мои жилищные условия улучшились. Заботливая начальница с большим трудом отвоевала, для меня небольшую комнатку в служебном помещении участка контактной сети, находящегося рядом с подстанцией. Это была уже почти пригодная для жилья площадь размером не более 2х3 метра, но зато с настоящим окном и дверью.

Произошло это как нельзя кстати, ибо именно в это время произошло великое долгожданное событие—мама получила разрешение покинуть Алжир! Наконец-то там, наверху, откуда идут указания, точно взвесив все pro и contra, справедливо решили, что осужденных на 8 лет самое время отпустить именно через 8 лет и 10 месяцев — не более и не менее.

Это радостное событие всколыхнуло весь законный Алжир. По одному начали вызывать в контору лагеря: нехитрый расчет, «грязный» документ в руки— и прощай Алжир!

Отправляли небольшими партиями, и в той, где была мама, находилась одна женщина из Свердловска. В Свердловске вместе с ее сестрой жили двое ее уже взрослых детей; к ним она и ехала. Мама тоже решила ехать до Свердловска, зная, что я нахожусь там, и заранее договорилась с попутчицей о возможности кратковременной остановки в доме ее сестры. Правда, перед отъездом в напутственном инструктаже начальник лагеря еще раз напомнил, что, согласно действующим законоположениям, лицам, ранее осужденным по статье 58 и освобождаемым из мест заключения, запрещается проживание в Москве, в столицах союзных республик, в областных центрах, а также в любых населенных пунктах, находящихся от указанных категорий городов в радиусе менее 101 км.

Это ограничение явно касалось мамы и ее попутчицы, но они просто не воспринимали его с той серьезностью, какой оно заслуживало. Все их мысли были уже там, на воле, среди своих родных, а все остальное представлялось второстепенным и незначительным.

Самым тяжелым было расставание с Валечкой, у которой к этому времени окончился восьмилетний срок и ее, как ранее маму, перевели в законный барак для этой непонятной «выдержки». Наплакались сестры сверх меры, единственная мысль в утешение была та, что не за горами и Валечкино освобождение.

Но вот подали подводки. Последние объятия и поцелуи, пожелания счастливого пути, и отъезжающие тронулись в обратный путь по той же самой дороге, что когда-то завезла их сюда. Трясаясь на телегах по безлюдной степи, еще недавно в высшей степени возбужденные и деятельные, они вдруг разом приумолкли, посуровели, и каждая по-своему и, может быть, впервые в полной мере оценила всю значимость настоящего момента, связывающего их с прошлым, которое все еще маячило удаляющимися сторожевыми вышками, и с будущим, у которого для многих пока еще не было никаких маяков. Мама рассказывала, что в тот момент величайшего эмоционального напряжения все эти восемь с лишним лет пронеслись в ее мозгу как одно спрессованное мгновение, и она вдруг потеряла сознание...

Я готовился к встрече. Как хорошо, что мне дали эту замечательную комнату! Я ее усердно почистил, мне даже удалось отмыть пол, к которому, судя по всему, с момента сдачи здания в эксплуатацию рука человеческая не прикасалась. Но вершиной комфорта и уюта была печка-буржуйка, которую я смастерил и установил в комнате, выведя трубу-дымоход через форточку. Хотя лето было в самом разгаре и заботы об отоплении меня не тревожили, но печка была необходима. Небольшой мешочек с мукой, подарок мамы, который я привез из Алжира, просто изматывал мои нервы из-за невозможности испечь пару-другую лепешек в те довольно частые

моменты, когда есть хотелось до тошноты. Из-за отсутствия печки я был лишен даже такого доступного удовольствия, как поджаривание тонких ломтиков хлеба, специально сберегаемого для этой цели. Эти подгоревшие, хрустящие, слегка подсоленные и испускающие удивительный аромат ломтики были так хороши с кружкой кипятка, да еще с сахарином, да еще с интересной книжкой в руках.

И вот к приезду мамы я стал обладателем собственной печки, и хотя тот заветный мешочек уменьшился в объеме, но все же кое-что в нем еще осталось для того, чтобы мы могли уже по-семейному гонять чай.

Мама не могла сообщить мне точной даты приезда и поэтому я ее не встретил; в письмах мы договорились, что сразу же по приезде она остановится на квартире своей попутчицы, а на следующий день приедет ко мне сама. Так все и получилось.

Удивительная все-таки была эта встреча, с какой стороны ее не рассматривай! Каждый шел к ней своим собственным путем длиной почти в девять лет, проходя через свои тернии. Каждый в растерянности стоял перед будущим, которое нужно было начинать с самого начала. Я из ребенка вдруг превратился во взрослого человека и просто не знал, что делать в этом качестве. Мама, тоже вдруг обретя долгожданную свободу, с первых же дней почувствовала себя в ней настолько неуютно, что просто растерялась. Мы были как два погорельца. Но погорельцам хотя бы сочувствуют и помогают иногда, а мы не могли даже рассказать, отчего «погорели».

Для начала мы решили, что мама остановится пока у меня, зачем стеснять чужих людей, там и своих болячек хватает.

Я снял со стены одеяло (а это была добротное одеяло с толстым покрытием вроде современного искусственного меха; такие одеяла во время войны шли из Америки по ленд-лизу), и мы устроили маме постель на полу, так как она категорически отказалась занять мою кровать, убедительно доказав, что на полу, словно на нарах, к которым она так привыкла, ей будет удобней.

Первый горький привкус дарованной свободы мама почувствовала через два дня, когда, следуя нашим планам, отправилась в районный отдел МВД для получения паспорта и прописки. Когда она протянула сотруднику свои документы, удостоверяющие ее недавнее «алжирское подданство», тот уставился на нее, как удав на кролика, и заявил, что с такими документами в Свердловске не только прописаться, но и появляться нельзя. И далее, очевидно, опасаясь, что дальнейшее пребывание мамы в Свердловске может нанести этому славному городу непоправимый урон, в самой категорической форме предложил ей в течение 24 часов покинуть город и забыть сюда дорогу. При этом сотрудник добавил, что если она ослушается, то к ней может быть применена статья об умышленном нарушении установленных правил о прописке и проживании лиц, освобожденных из мест заключения, а в ее положении лучше до этого не доводить. Во время беседы сотрудник МВД настойчиво интересовался, почему она приехала именно в Свердловск, кто у нее здесь из родственников или знакомых, у которых она остановилась, чем перепугал маму до смерти, и та наплела ему что-то в три короба, ни разу не упомянув, что приехала к сыну.

Это первое знакомство мамы с официальным свободным миром повергло ее в шоковое состояние, и на фоне этой свободы далекий и недавний Алжир показался ей куда более привлекательным. Естественно, что все наши планы перечеркивались начисто, оставаться маме в Свердловске было невозможно. Стал вопрос — куда деваться?

В последствии мы с ней часто ломали головы—почему из Свердловска она выехала именно на станцию Паклевская? Ну, допустим, что этот населенный пункт, о существовании которого никто из нас ранее даже не подозревал, был за пределами зоны отчуждения, определенной в 101 километр, и не слишком далеко от Свердловска, где оставался я. Но были ведь и другие подобные города и поселки. Как бы то ни было, но в конце августа сорок шестого мама каким-то образом очутилась на станции Паклевская — небольшом поселке, более напоминающем большое уральское село.

Пока шла по улице, разглядывая убогие домишки и думая, с чего же начать, натолкнулась на объявление, наклеенное на заборе, в котором сообщалось, что Паклевской войлочной фабрике требуются рабочие разных специальностей. Мама, не раздумывая, пошла по адресу этой фабрики.

Начальница отдела кадров встретила приветливо, видно, рабочие действительно были нужны, и на вопрос мамы — нельзя ли устроиться на работу? — начала перечислять имеющиеся вакансии, коротко их комментируя, а мама, слушая вполуха, все ждала, когда же та спросит, наконец, документы и поинтересуется — откуда она и почему оказалась здесь? И когда разговор неминуемо дошел до этого, то бывшая приветливость сразу же как-то вдруг сменилась удивленным молчанием.

Кадровичка сосредоточенно перечитывала предъявленные документы, недоуменно поглядывая на сидящую напротив вообще-то вполне приличную женщину, но которая— надо же—уже успела отсидеть восемь лет в лагере. Да еще и жена изменника родины! Видать, такие жены в Паклевской были в диковину, а потому кадровичка, попросив посидеть минуточку, куда-то вышла с документами. Через пару минут она вернулась и попросила маму вместе с ней пройти к директору фабрики.

Директор, немолодой, очень полный мужчина, восседал, как положено, в кресле за огромным столом, совсем не соответствующим масштабам фабрики. Уже после первых минут разговора стало ясно, что это не очень образованный, дурно воспитанный, хамоватый и уверенный в себе местный владыка.

Не пригласив даже присесть, он с наглым любопытством уставился на маму, а начав беседу, обратился к ней, разумеется, на «ты», подчеркивая разницу в положениях. Ему, собственно, и говорить-то было не о чем — просто захотелось поглазеть на столь редкую просительницу работы на его фабрике, куда местных не загонишь ни кнутом, ни пряником, а эта сама пришла-приехала черт знает откуда, да еще «из порядочных», как доложила Зинка-кадровичка. Ясное дело, что он ее примет, но захотелось покопаться в прошлом этой женщины, стоящей перед ним, потупя голову. С виду она действительно скромная и порядочная, но кто ее знает? Все они такие, этой он даст понять, что на его фабрике нужно вкалывать и напроць оставить все свои прошлые штучки.

Он задал маме несколько вопросов, бесцеремонных, бередящих душу. Она отвечала, едва сдерживая слезы, ожидая конца этой экзекуции, но директор не очень спешил, заполняя паузы между вопросами и ответами полезными для мамы сведениями, что стране нужен войлок, что работа на его фабрике несомненно пойдет ей на пользу, а там, глядишь, и жениха подыщем, баба еще молодая и в теле, ха-ха...

— Ну, ладно,— изрек он, наконец, считая свою миссию успешно завершённой и обращаясь к кадровичке, еще хихикающей по поводу «бабы в теле»:—Оформляй ее, Зин, настильщицей. Пиши приказ, я подпишу.

И, не спрашивая маму, согласна ли она быть этой настильщицей, и даже не объяснив, что это такое, сурово произнес, обращаясь уже к ней:

—Но смотри у меня, чтобы ни-ни...

Это выразительное «ни-ни», сопровождаемое не менее выразительным покачиванием указательного пальца, ясно давало маме знать, что отныне она должна оставить всякую мысль о возможности вредительства или терроризма на фабрике, о заговорах с целью свержения местного поселкового совета и о каких-либо шашнях с агентами мирового империализма.

После такого «вводного инструктажа», данного лично директором, мама проследовала с кадровичкой в ее кабинет, и через пару минут на Паклевской войлочной на одну настильщицу стало больше. Общежития на фабрике не было и, решая жилищную проблему, кадровичка вызвала из цеха работницу, которая «сдавала угол». Та ответила, что возьмет маму, и отвела в свою избу, километрах в двух от места работы.

Тут неожиданно для мамы выяснилось, что сдаются тут не один, а два угла, задерживаемых ситцевыми занавесками в одной небольшой комнате. Один из углов был занят каким-то молодым парнем, тоже из приезжих. Мама поначалу посчитала невозможным поселиться здесь и очень этим огорчилась, но хозяйка успокоила: «ниче, не бойсь, он тебя не тронет».

Мама прожила здесь худо-бедно месяца три, но все же была вынуждена сменить квартиру, так как было далеко и страшновато ходить на работу, особенно в ночные смены. К этому побуждало и еще одно пикантное обстоятельство — у хозяйки были две великовозрастные дочери, задержавшиеся в девках, которые частенько, попёрёменке, забирались в постель к маминому соседу, полагая, очевидно, что мама спит и ничего не слышит, а может быть, и вообще ничего не полагая, стоит ли церемониться?

И мама перебралась поближе к фабрике к другой работнице, тоже настильщице и ставшей уже подругой. Они теснились вдвоем в крохотной комнатухе, нещадно поедаемые клопами, но это уже были мелочи жизни.

Тут, наверное, самое время рассказать, в чем заключалась работа настильщиц. В цех, где они работали, тачками завозилась приготовляемая в другом цехе масса, из которой делается войлок, и навалом сгружалась в ящик возле каждого рабочего места, представляющего собой небольшой стол. Настильщица

брала массу и «настилала» ее толстым ровным слоем на простынь из грубого и прочного материала. Затем этот «пирог» поливался какой-то жидкостью из лейки, заворачивался концами простыни, и полученная заготовка скатывалась в рулон. С рулоном в охалке настильщица шла к машине и пропускала заготовку через вращающиеся прессующие валки. После этого она извлекала уже почти готовый войлок из простыни и переносила его к месту сушки.

Не будем маме мешать давать стране войлок, пусть она этим спокойно занимается, скажем только, что дело у нее хорошо пошло, и вскоре она даже стала передовиком производства.

Давайте перенесемся снова на тяговую подстанцию Свердловск-сортировочный, где я продолжаю трудиться, не показывая при этом каких-либо особых успехов. Но зато я преуспел в совершенно ином плане.

Во время смены дежурные по подстанциям оперативно подчинялись энергодиспетчеру участка, находящемуся в Нижнем Тагиле. Между подстанциями и диспетчерским пунктом существовала селекторная связь, по которой мы вели служебные разговоры, а в ночные смены, когда селекторная связь не загружена и никто из начальства не дышит в затылок, мы частенько болтали о чем угодно, обмениваясь местными новостями, заводя заочные знакомства, в общем, треп шел универсальный, и в какой-то мере он был даже полезен тем, что не давал заснуть.

Среди диспетчеров была одна девушка по фамилии Петрова, которую я никогда не видел и только слышал по селектору. Ее голос мне нравился больше, чем голоса других диспетчеров, и не только своими приятными грудными интонациями. Петрова умела вести разговор — когда надо, она была деловой и лаконичной, но когда было можно, говорила с чувством юмора и с шуткой.

Дежурные техники на тяговых подстанциях были не только молодыми, вроде меня, но и людьми средних лет и даже пожилыми, но диспетчера Петрову все мы отличали особо. Эта молодая девушка была для нас непререкаемым авторитетом, подчиняться которому было не только необходимо, но и приятно. Для меня, по крайней мере, селекторный вызов в начале смены, начинавшийся словами «дежурство приняла диспетчер Петрова», всегда был приятным настроением на всю смену, и я с нетерпением поглядывал на часы, дожидаясь, когда часовая стрелка подойдет к полуночи, чтобы можно было вызвать диспетчера, с традиционным рифмованным приветствием «диспетчер, добрый вечер» доложить о состоянии дел на подстанции и поговорить на вольные темы.

После нескольких таких разговоров мы кое-что узнали друг о друге. Звали ее Мария Ивановна (все-таки диспетчер!), а попросту Маринка; она оказалась моей ровесницей, родом из Первоуральска, также окончила техникум, работала уже два года, жила вместе с подругой, тоже диспетчером. Кое-какие сведения о себе сообщил ей и я. Затем мы начали создавать по селектору свои словесные портреты, в результате чего предо мною предстал обаятельный образ юной и прекрасной женщины, чем-то напоминающий Любовь Орлову, и даже лучше, а- на обратном конце провода сложилось впечатление о юном красавце, которого и в кино редко увидишь. Вполне естественно, что мы решили в самое ближайшее время проверить достоверность словесных портретов путем личной встречи и дополнить их новыми достоинствами, которые могли пропустить из-за ограниченных возможностей

селектора. А тут еще Тоня Хму-рова подогрела мое любопытство и нетерпение, сообщив, что не раз видела Марию Петрову, и та, действительно, показалась ей весьма интересной и приятной девушкой. В общем, в один прекрасный день я страшно удивил и обрадовал Фугаеву, добровольно вызвавшись смотаться в Тагил, чтобы получить там на складе несколько банок с красками для ремонта подстанции.

Наша первая встреча произошла в диспетчерской во время дежурства Маринки. Поначалу мы оба волновались и смущались, но вскоре разговорились и огорчались, когда беседе мешали голоса с линии, требующие диспетчера, и довольно частые посещения диспетчерской сотрудниками отделения дороги, особенно молодыми женщинами, которые вроде бы по делу обращались к Маринке, но смотрели в мою сторону.

Вечером я уехал в Свердловск. После этой встречи наши ночные разговоры по селектору стали и более заинтересованными, и более продолжительными. Дежурные техники других подстанций недоумевали, почему это даже ночью не добьешься диспетчера. Им действительно было трудно это сделать, потому что Маринка часто отключала от селектора все подстанции, когда на линии был Свердловск-сортировочный.

Когда я приехал к Маринке в четвертый раз, то предложил ей стать моей женой. И она согласилась. Буквально на следующий день Маринка пошла к начальнику участка, поставила его в известность о нашем решении соединить жизни и ультимативно потребовала, что если он не хочет лишиться в ее лице опытного энергодиспетчера, то должен немедленно перевести меня из Свердловска в Тагил на любую вакантную должность. Она знала себе цену и потому действовала наверняка, сознательно взяв на себя хлопоты по моему служебному перемещению.

Я в этом плане был фигурой значительно меньшей, и пока Маринка столь умело решала у начальства наши дела, тихонько сидел в коридоре, благо меня тут почти никто не знал.

— Пиши заявление о переводе тебя в Тагил по семейным обстоятельствам,— радостно сообщила Маринка, выходя из кабинета.

С приказом в кармане о моем переводе в Тагил и о назначении дежурным техником на тяговую подстанцию Смычка (так называлась сортировочная станция Тагильского железнодорожного узла) я вернулся в Свердловск, несказанно удивив всех не столько своим переводом, сколько женитьбой. Сборы были недолги — все тот же фанерный чемоданчик—и через пару дней, которые показались мне вечностью, я приехал в Тагил, где меня с неменьшим нетерпением ожидала моя дорогая невеста.

Наш брак был столь стремителен, что я даже не успел поставить маму в известность ни о нашем знакомстве, ни тем более о наших намерениях, и когда она получила мое письмо, сообщавшее о столь поразительных переменах в моей жизни, то была действительно поражена. В этом же письме мы предложили ей немедленно рассчитаться с фабрикой и выезжать к нам в Тагил.

Как только мама немного отошла от такой новости, она сразу же написала нам письмо, сообщив, что завтра же подает заявление на расчет—ждите

телеграмму. Но проходит неделя, другая, а телеграммы нет и нет. Мы не на шутку встревожились.

Но гораздо большие волнения выпали на долю мамы. В третий раз за сравнительно короткую свободную жизнь ей пришлось столкнуться с официальным миром, отчего она еще больше утвердилась во мнении, что хотя Алжир позади, но «алжириада» продолжается. Когда она принесла свое заявление на расчет директору фабрики, тот хмуро и молча прочитал его и тут же разорвал на мелкие клочки, кинув их ей прямо в лицо. А когда мама сделала попытку возмутиться, из его разгневанной пасти полились брань и матерщина, в доступной форме разъясняющие, что она неблагодарная дрянь, что ее приютили из жалости, вывели в люди, а она хочет сбежать, когда рабочих и так не хватает. Директор договорился до того, что советская власть допустила ошибку, не расстреляв ее вместе с мужем, а уж раз такое случилось, то пока он здесь, она будет вкалывать, пока не сдохнет.

Мама с рыданиями выскочила из кабинета, не в силах больше слушать это оскорбительное словоблудие, и тихонько поплелась домой, проклиная тот день и час, когда впервые пришла на фабрику.

Через несколько дней она снова пришла с заявлением, но уже в часы официального приема, когда кроме директора в кабинете присутствует кто-нибудь еще» чаще всего кадровичка или председатель фабкома.

На этот раз «владыка» заявление не рвал и гадостей не говорил, а молча размашистым почерком поперек заявления начертал «отказать в связи с нехваткой в настоящее время настильщиц». Уговоры и слезы мамы не возымели действия, ее просто вытурили из кабинета, чтобы она не мешала продолжать прием трудящихся.

Когда через несколько дней мама вновь пришла к директору на прием и он снова ей отказал, она вышла из здания, но домой не пошла, а, обливаясь слезами, уселась на крыльце. Мимо проходили люди, останавливались, спрашивали, в чем дело, удивлялись ее молчанию. Она же решила не уходить отсюда, пока ее не рассчитают. Было темно, когда кто-то остановился возле нее.

— Что ты тут расселась?—спросил грубый голос, и она узнала директора, который уходил домой.—А ну живо поднимайся и марш отсюда!

— Никуда я не уйду, пока вы мне не дадите расчета,— тихо выговорила мама, поднимая на директора глаза.— Даже если мне придется здесь замерзнуть. Но тогда уж вам не уйти от ответа...

Не знаю, что услышал директор в маминых словах,—решимость, ненависть, мольбу, а может быть и все вместе.

— А ну поднимайся, пойдем в контору,—после короткого молчания сухо произнес он и даже помог подняться на ноги.

Мама машинально пошла за ним, где-то подсознательно думая, что он может ее избить, ведь в конторе никого нет, но ей уже было все равно.

— Давай сюда свое заявление,—коротко приказал директор, и, когда мама протянула ему листок бумаги, он, не говоря ни слова, написал «уволить согласно заявлению».—И чтоб завтра ж духу твоего здесь не было...

Мама не помнила, как дошла домой, как собрала свои вещички. Рассвет дождалась, не ложась спать. Расчет получила быстро, сразу же отправилась на станцию, откуда послала нам телеграмму, и просидела на вокзале до позднего вечера, дожидаясь своего поезда, мало-помалу приходя в себя.

Мы с Маринкой встретили ее на вокзале. Я сразу же обратил внимание, как она постарела и осунулась за эти немногие месяцы. Шли мы быстро, на все мои вопросы мама отвечала «потом... потом». Наконец мы остановились перед дверью нашей комнаты, Маринка открыла ее ключом.

— Ну, вот ты и дома, мама! — сказал я ей, пропуская вперед.— Входи, раздевайся и отдыхай...

— Боже мой, Горик!—тихо проговорила мама, в каком-то изнеможении опускаясь на стул.— Боже мой! Как долго я шла к этому дому!.. Целых десять лет!.. Неужели Алжир и весь этот ужас уже позади и никогда больше не повторится?!

В самом деле, неужели весь этот ужас может когда-нибудь снова повториться в нашей жизни? — не раз задавал я себе этот вопрос своей многострадальной матери. Но и сейчас я не могу дать на него убедительного ответа. Твердо знаю только одно—чтобы предотвратить это несчастье, чтобы этого не случилось ни с нами, ни с детьми и внуками нашими, мы должны знать все о том страшном времени и всегда о нем помнить. Для этого я и рассказал историю нашей обычной советской семьи, одной из тех, которые обычно называют простыми.

И было таких простых миллионы...

ГЛАВА 14

Вместо эпилога и одновременно позволяющая проследить дальнейшую судьбу всех тех, с кем мы пережили эти страшные годы...

В 1957 году, через десять лет после описанных здесь событий, мама неожиданно-негаданно получила два замечательных документа - справки о собственной реабилитации и своего мужа. Она никуда не писала, ни о чем не

хлопотала, бумаги нашли ее сами, что еще раз свидетельствовало о недремлющем оке «компетентных органов» даже в то время относительного «потепления» - никуда от них не скроешься ни годами, ни расстояниями.

Немногим позже мама получила еще один документ - свидетельство о смерти мужа. В нем доверительно сообщалось, что Поль Леонид Эмильевич умер 16 августа 1937 года в возрасте 39 лет, о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 29 марта 1958 года произведена соответствующая запись.

Поздновато, конечно, но всё как положено, только в графе «причина смерти» почему-то скромно стоит прочерк: такой же прочерк стоит и в графе «место смерти»...

Я почти ничего не рассказываю в этом повествовании об отце - тема эта как бы обрывается его арестом. Почему его арестовали, в чем обвиняли? Почему суд над ним был столь скор и безжалостен? Да и был ли он, этот суд? Полученная справка о реабилитации и свидетельство о смерти ясности не внесли, но вопросов добавили. Ну вот, к примеру, приговор Военной Коллегии датирован 15 августа 1937 года, а дата смерти - 16 августа, на другой день. Разве может быть так - не успели приговорить и тут же расстреляли? А где же время для апелляции, да и вообще где то время, которое даже в самых жутких романах милостиво дается приговоренному к смерти, чтобы проститься с этим миром и в благочестии и раскаянии переселиться в лучший? И потом, маму арестовали в октябре, почти до самого ареста она носила передачи, меняла белье... что, уже мертвому мужу? Да и на допросах больше всего спрашивали о муже - для чего бы это, если его уже нет в живых? На эти вопросы требовались ответы, но я их просто не знал, и потому тема отца оказалась как бы недоговоренной.

Мне понадобилось немало времени и усилий, чтобы хоть немного приоткрыть завесу, скрывающую последние два с половиной месяца из тридцати девяти лет жизни моего отца. Но счастливый случай где-то в начале девяностых годов позволил мне детально ознакомиться с его делом, которое более полувека пролежало в подвалах бывшего НКВД, чтобы рассказать, наконец-то, мне самому, а сейчас и моим читателям об ужасном конце жизни моего отца.

По меркам того времени судьба моего отца была предрешена заранее. Поводом для его ареста послужил ложный донос некоего Бардакова К.И., техника паровозного отделения станции Ерофей Павлович, сообщившего органам, что Поль Л.Э. якобы является членом шпионско-диверсионной организации и активно проводит разведывательную работу в пользу Японии, имея непосредственную связь с неким Соловьевым В.А. Чуть позднее во всех тяжких грехах «покаялся» ранее арестованный Молодцов Н.Н., работник управления железной дороги, сообщивший при этом, что это именно он вовлек Поль Л.Э. в контрреволюционную деятельность и совместно с ним проводил диверсионную работу в депо на станции им. Кагановича (ныне ст. Чернышевск-Забайкальский). А буквально за день до ареста отца ранее арестованный Ткачев А.Д., заместитель начальника паровозной службы, на допросе в числе участников «контрреволюционной организации» назвал и подчиненного ему начальника отдела теплотехники Поль Л.Э.

Допросы отца начались 7 июня на третий день после ареста и велись без перерыва по 9 июня, и за эти три дня его показания круто изменились от полного

и категорического отрицания всех предъявленных ему обвинений до безоговорочного признания таковых.

Допросы непрерывно вели, сменяя друг друга, три следователя - начальник транспортного отделения УНКВД лейтенант госбезопасности Семенов, помощник оперуполномоченного младший лейтенант госбезопасности Лиханов и оперуполномоченный сержант госбезопасности Ульянов. И этих трех дней им вполне хватило, чтобы во всем разобраться и решить участь моего отца.

Протокол допросов, сохранившийся в архивах бывшего НКВД, удивительнейшим образом фиксирует эту неожиданную метаморфозу в показаниях отца и позволяет сделать однозначный вывод. Вот короткий документальный отрывок из того трехдневного марафона, как раз приходящийся на то место допроса, где и произошел этот перелом в показаниях отца (стиль оригинала сохраняется):

Вопрос: Вы упорно стараетесь скрыть свое участие в японской шпионско-диверсионной организации, но это бесполезно, вы уличены в этой деятельности. Требуем от вас правдивых показаний.

Ответ: Категорически это отрицаю, никакого участия в шпионско-диверсионной работе я не принимал.

Вопрос: Вы напрасно упорствуете. Следствие настаивает на даче правдивых показаний.

Ответ: Я ничего показать не могу, так как ни в каких контрреволюционных организациях не участвовал.

Вопрос: Вы лжете. Следствие располагает уличающими вас материалами и категорически требует прекратить бесполезные запирательства...

На этом месте допроса, отступая от буквы протокола, я позволил себе поставить продолжительное многоточие, как бы символизирующее, что здесь что-то произошло. А о том, что здесь действительно «что-то произошло», свидетельствует следующее продолжение допроса.

Вопрос: Вы лжете. Следствие располагает уличающими вас материалами и требует категорически прекратить бесполезные запирательства.

Ответ: Признаю, что я пытался скрыть от следствия свою причастность к японской шпионско-диверсионной организации, но вижу, что это бесполезно... Да, я состоял в японской шпионско-диверсионной организации, активно работал в ней до момента моего ареста... С конца 1931 года я стал агентом японских разведорганов, получал задания на сбор сведений шпионского характера о наличии и расходе топлива на складах, о наличии паровозных котлов и их состоянии, о наличии водокачек и их мощностях, об оборудовании топок паровозов сводами и водомерными стеклами, что мною и выполнялось аккуратно...

Вот такой бред о водокачках и водомерных стеклах. Бред ценою в человеческую жизнь. Далее идут несущественные уточнения кое-каких деталей для придания полученным «признаниям» хоть какой-то видимой достоверности.

Разумеется, следствие требовало назвать «и других участников организации». И отец называет Сиволапа, Бардакова, Ниценко и Мурзина, подтверждая ранее данные ими же «показания».

Теперь самое время пояснить поставленное мною многоточие на переломе показаний, так сказать, на кульминационном пункте допроса. За этим многоточием скрываются пытки - жестокие, бесчеловечные, циничные, многим из которых могла бы позавидовать средневековая инквизиция. Пытки разные по форме и содержанию, на любой вкус исполнителей, на любые нюансы следствия, с выдумкой и без, мучительные и не очень. Но они всегда давали положительные результаты.

Полный перечень известных мне теперь пыток из арсенала НКВД занял бы не меньше страницы, но я умолчу о них. К тому же рискованно раскрывать секреты, которыми смогут воспользоваться, не приведи Господь!, гипотетические последователи из общества «развитого социализма» или не менее развитого нацизма. Ну вот, например, к какой категории пыток отнесли бы вы, мой читатель, ту, которую перенес, а вернее не перенес мой отец как раз на переломе своих показаний, обозначенном мною многоточием? Это были самые обыкновенные гири весом 1 и 2 кг. которыми нам порою отвешивают на рынке мясо или овощи. Но в этом конкретном применении эти гири использовались в иных целях. С помощью несложной веревочной удавки они подвешивались, извините, к половым органам допрашиваемого, стоявшего перед следователем. Подвешивались они в зависимости от обстоятельств допроса в различных весовых комбинациях, но обычно не более двух гирек сразу, скажем, в комбинации 1+1 или 1+2 кг, а уж 2 +2 было вполне достаточно для получения любого признания, даже если за ним стояла неминуемая смерть.

Никаких побоев, никаких видимых следов насилия, и при этом практически стопроцентная раскрываемость и выполнение плана по «врагам народа». Знающие люди говорили мне, что изобретателем этих утонченных пыток был сам глава управления НКВД по Читинской области Хархорин, который за перевыполнение плана «по раскрываемости врагов народа» во вверенном ему регионе был удостоен высокой награды - ордена Ленина. Вполне вероятно, что этой чести он удостоился не без помощи торговых гирек в их новом оригинальном применении...

В деле моего отца нет никаких уточняющих сведений о его «вражеской деятельности». - хоть бы одно японское имя, или место встречи, дата. Одни общие фразы и эти длинные труднопроизносимые прилагательные перед словом «организация». Но это не помешало начальнику отдела капитану госбезопасности Горюнову и уже знакомому нам по допросам лейтенанту госбезопасности Семенову по результатам «следствия» составить обвинительное заключение и 10 августа 1937 года оно было предъявлено моему отцу. Содержание этого обвинительного заключения документированно приводится ниже.

«...В апреле-мае 1937 года на Восточно-Сибирской и им. Молотова железных дорогах вскрыта и ликвидирована разветвленная контрреволюционная, троцкистская, террористическая, шпионско-диверсионная организация,

действующая по заданию японских разведывательных органов. Следствием установлено, что данная организация широко финансировалась японскими разведывательными органами и имела специальных лиц для связи с их представителями. Практическая деятельность этой организации выражалась в подготовке террористических актов против руководителей партии и правительства, в сборе и передаче японским разведывательным органам шпионских материалов о состоянии ж.д. транспорта, состоянии и вооружении РККА, проведении по заданиям японской разведки разрушительной и диверсионной работы, и насаждении законспирированных диверсионных групп для разрушительных действий на ж.д. транспорте во время войны, с целью ослабления обороноспособности Советского Союза и оказания прямой помощи Японии в войне против СССР.

Одним из участников организации является Поль Леонид Эмильевич, завербованный для шпионской работы в пользу Японии в 1931 году на ст. Зилово агентом японской разведки Мацкевичем. В 1934 году с Полем устанавливает связь агент японской разведки и участник организации на ж.д. им. Молотова Комков, а в 1935 г. один из руководителей этой же к/р организации бывший начальник группы труда и зарплаты Молодцов. Преступная контрреволюционная деятельность обвиняемого Поля выражалась в следующем. С 1931 г., работая на дороге им. Молотова, Поль собирал как лично сам, так и через переданных ему Мацкевичем агентов японской разведки Сиволапа, Бардакова, Ниценко и Мурзина шпионские сведения о работе и состоянии ж.д. транспорта по вопросам паровозного хозяйства, водоснабжения, складов топлива и передавал их Мацкевичу. В 1932 г. Поль от агента японской разведки Мацкевича имел задание вывести из строя электростанцию на ст. Зилово, однако выполнить это задание не имел возможности. В соответствии с полученными заданиями от участников организации Пономарева и Молодцова проводил разрушительно-диверсионную работу в паровозном хозяйстве путем недоброкачественного ремонта паровозов, применения вредительских сплавов для контрольных пробок, в результате чего было выведено по депо Чита из строя 36 паровозов, выталкивания под поезда неисправных паровозов и т.д. привлеченный к ответственности обвиняемый Поль виновным себя в предъявленном ему обвинении признал, кроме того его преступная деятельность подтверждается показаниями обвиняемых Комкова, Ткачева, Бардакова, Молодцова и документами.

На основании вышеизложенного Поль Леонид Эмильевич. 1898 г. рождения, уроженец г. Тамбова, по национальности немец, гражданин СССР, беспартийный, образование среднее, с 1918 по 1920 г. служил в белой армии рядовым и юнкером, не судился, женат, на иждивении жена и сын, до ареста работал начальником группы теплотехники паровозной службы ж.д. им. Молотова, обвиняется в том, что:

- а) состоял агентом японских разведывательных органов с 1931 г. и участником контрреволюционной, троцкистской, террористической, шпионско-диверсионной организации на ж.д. им. Молотова;
- б) лично имел на связи четырех агентов японской разведки и руководил их разведывательной сетью;
- в) собирал и передавал шпионские материалы о работе железной дороги;

г) проводил разрушительно-диверсионную работу на ж.д. транспорте в паровозном хозяйстве, то есть в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58 п.1-а. 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР. Настоящее дело подлежит направлению в Военную Коллегию Верховного Суда Союза ССР, с применением закона от 1-го декабря 1934 года...»

Это обвинительное заключение ничтоже сумняшеся утвердили помощник начальника УНКВД по Восточно-Сибирской области капитан госбезопасности Южный и помощник Главного военного прокурора РККА дивизионный военный юрист Казаринский.

15 августа 1937 года в г. Чите состоялось закрытое судебное заседание выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР, и я теперь знаю имена палачей, подписавших моему отцу смертный приговор. Председательствовал на этом «суде» дивизионный военный юрист Никитченко, члены коллегии - дивизионный военный юрист Горячев и бригадный военный юрист Китин; секретарь - военный юрист 3-го ранга Шапошников. Как явствует из судебного протокола, в суд был доставлен только подсудимый, свидетели по делу не вызывались. Заседание было открыто в 15 часов 00 мин. Подсудимый никаких ходатайств, а также отвода составу суда не заявил. На вопрос председательствующего - признает ли подсудимый себя виновным, мой отец ответил, что виновным себя признает, дополнить судебное следствие ничем не имеет, но в последнем слове просил не лишать его жизни. Суд удалился на совещание, по возвращении с которого председательствующий огласил приговор. В 15 часов 29 мин. Заседание было закрыто. За эти 20 минут судьи-палачи во всем «разобрались» и на основании признаний подсудимого, вытянутых из него под пытками, приговорили моего отца Поль Леонида Эмильевича к высшей мере уголовного наказания - расстрелу, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, и на основании Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению. К сему руку приложили Никитченко - Горячев - Китин, и я не забуду эти ненавистные мне имена до самой смерти...

Постановление родного ЦИК не было нарушено, и в ночь с 15 на 16 августа 1937 года мой отец был расстрелян, что и удостоверяет имеющаяся в деле соответствующая справка; был там такой заплочных дел мастер - сержант госбезопасности Тонких.

Вот еще один документ, по форме и содержанию мало знакомый широкому читателю. В 1957 году мой отец был посмертно реабилитирован, о чем я уже упоминал выше. Копия реабилитационного определения Военной Коллегии Верховного Суда СССР приводится ниже без сокращения:

«Верховный Суд Союза ССР, Определение №4Н-05896/57.

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе: председательствующего полковника юстиции Цырлинского и членов - подполковника юстиции Торгашина и подполковника юстиции Ферштмана, рассмотрев в заседании от 29 октября 1957 г. заключение Главного военного прокурора по делу Поль Леонида Эмильевича, 1898 г. рождения,

уроженца г. Тамбова, арестованного 4 июня 1937 года, до ареста работавшего начальником части теплотехники паровозной службы Забайкальской железной дороги, осужденного 15 августа 1937 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имущества, и заслушав доклад тов. Ферштмана и заключение помощника Главного военного прокурора полковника юстиции Базыкина,

установила:

Поль Л.Э. признан виновным в том, что он с 1932 г. состоял в антисоветской троцкистской террористической шпионско-диверсионной организации, существовавшей на железных дорогах Восточной Сибири, занимался вредительской деятельностью и собирал шпионские сведения для японской разведки.

В заключении предлагается отменить приговор в отношении Поль и прекратить дело о нем/за отсутствием состава преступления, так как проведенной дополнительной проверкой установлены новые обстоятельства, свидетельствующие о том, что дело на Поль сфальсифицировано и он осужден необоснованно.

Рассмотрев материалы дела и дополнительной проверки, соглашаясь с заключением, Военная Коллегия Верховного Суда СССР определила:

Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 15 августа 1937 г. в отношении Поль Леонида Эмильевича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело о нем прекратить по пункту 5 статьи 4 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления.»

Такой вот «happy end»...

Место захоронения в документах дела не указано и до настоящего времени мною не установлено. Кроме доброго имени и светлой памяти осталась у меня еще и фотография отца - самая последняя и по-своему уникальная. Неведомый фотограф снял его незадолго до расстрела, наверное, так требовал ритуал тогдашних узаконенных убийств, и теперь эта увеличенная фотография висит над моим письменным столом. Я снова и снова вглядываюсь в дорогое мне лицо, почти забытое за эти многие десятки лет - как похож на него мой младший сын, которому сегодня чуть больше, чем было отцу перед гибелью. И дай Бог, чтобы это сходство осталось единственным в их судьбах...

Я не перестаю надеяться, что когда-нибудь я все же узнаю, где та яма, то есть могила, что хранит дорогие мне останки, чтобы хотя бы раз в жизни положить туда букет цветов в день его мученической смерти. Да, у тех, кто так обильно взрыл такими ямами нашу родную землю, с этим делом куда яснее. И хотя сегодня уже изрядно потускнели их «добрые имена и светлая память», многие из них возлежат в могилах без прочерков, а некоторые из наиболее выдающихся и преуспевших на

этом кровавом поприще даже удостоились великой чести торжественно покоиться у стен Кремля...

Примерно через год после мамы покинула Алжир и Валечка, пройдя ту же непонятную выдержку в качестве условно освобожденной. Она, естественно, поехала к себе домой, к детям, живущим на той же Покровке, но из Москвы ее быстренько вытурили, как когда-то маму из Свердловска.

Сначала она обиталась в Петушках Московской области, но то ли там не хватало несколько километров до обязательных 101, то ли невозможно было устроиться на работу, Валечка была вынуждена отъехать чуть-чуть подальше и поселилась в Костереве. А потом ей стало просто невмоготу быть одной среди чужих, хотя Москва была не так уж и далека и там жили ее дети, к которым она изредка и крадучись наезжала, шарахаясь от каждого встречного милиционера.

И она решила перебраться к сестре в Нижний Тагил и, видно, так ей было тошно, что она даже не поставила об этом в известность никого из близких, даже мою маму, и объявилась в Тагиле нежданно-негаданно.

Она остановилась у нас и вскоре устроилась уборщицей в мужское общежитие. Всё еще эффектный внешний облик бывшей жены бывшего торгпреда СССР в Японии явно не вязался с ее теперешним положением. И однажды во время уборки туалета к ней подошел один мужчина и, поборов смущение и предварительно извинившись, поинтересовался: кто она такая и каким образом очутилась здесь с ведром и тряпкой в руках, но при модной прическе и с белоснежным накрахмаленным воротничком, вызывающе выглядывающим из-под не очень нарядного халата уборщицы. И когда из скупых ответов Валечки этот мужчина, оказавшийся директором одной из местных школ, узнал, что ведро и тряпка не всегда дополняли ее наряд, а этот сортир не совсем то место, о котором она могла мечтать, он решил ей помочь.

Его знакомая, занимавшая руководящую должность в Тагильском книготорге, устроила Валечку кассиром в книжный магазин, и настолько прониклась к ней симпатией, что временно предоставила ей комнату в своей квартире. А вскоре Валечке выделили крохотную однокомнатную квартиру площадью не более 10 квадратных метров и с совсем-совсем крохотным чуланчиком, переоборудованным кем-то и когда-то под кухню. И Валечка зажила в свое удовольствие, впервые за десять последних лет почувствовав себя человеком.

Рядом к тому же была Капочка, к которой она часто ходила в гости, а вот теперь могла принимать ее сама в своей собственной замечательной квартире. Она даже помогла маме устроиться продавцом в тот же книжный магазин, где работала сама, так что они снова оказались вместе вплоть до 1958 года, разделяя радости и горе.

Пожалуй, самым большим горем для них в этот период явилась смерть Сталина. Когда они узнали об этой страшной беде, то горько навзрыд рыдали вместе со всеми, оплакивая столь ужасную для страны потерю, и не могли представить, как же мы все будем жить теперь без него.

Когда мама в конце пятидесят седьмого получила реабилитационные документы, Валечка страшно переживала, что ей ничего нет, начала писать, куда надо и куда не надо, но это было совершенно напрасно, так как прошло немного времени, и она тоже получила свою порцию индульгенций. И вот тут-то она узнала впервые, что если верить этим документам, ее Юлий Густавович не был расстрелян, а умер от простудной болезни в далекой северной ссылке в 1944 году!

Это была ошеломляющая весть, и Валечке пришлось вторично пережить смерть мужа, и эта, вторая, была для нее еще более потрясающей. Да, можно сказать, что в судьбе Юлия Густавовича удивительнейшим образом нашли отражение исторические контрасты и аналогии - сначала царская власть приговорила его к смерти, заменив ее впоследствии каторгой, а затем то же самое повторила советская власть. Но на этом, пожалуй, аналогия и кончается, поскольку при Николае II ему все-таки удалось выжить, а вот при Иосифе I выжить не сподобилось.

Впрочем недавно, после того, как я прочитал где-то о ставших ныне известных фактах, что арестованных расстреливали именно в тридцатых годах, а в справках о смерти, высылаемых после реабилитации, указывалось другое время, скажем, тот же 1944 год, меня одолели сомнения. Делалось это для того, чтобы «разбросать» даты гибели по другим годам и тем самым «разжижить» 37-38 годы, на которые пришлось слишком уж много крови. Однако и гораздо позднее детям и внукам Валечки удалось по вновь открывшимся документам узнать, что Юлий Густавович был расстрелян все-таки в 1938 году, и этой версии они поверили больше, чем его «второй смерти».

Вскоре Валечка уехала в Москву, где ей предоставили небольшую комнату в коммунальной квартире недалеко от Петровского пассажа и назначили более или менее приличную пенсию «по мужу».

А мама продолжала трудиться. К этому времени она уже дослужилась до заведующей книжным магазином и усиленно «нагоняла» стаж для будущей пенсии, так как «по мужу» ей ничего не светило и она решила поработать еще года три-четыре, благо здоровье позволяло. Но, к сожалению, ей это не удалось. В Тагильский книготорг назначили нового директора и, знакомясь со своими кадрами, он вдруг узнал, что одна из его завмагов отмечена клеймом «37», за плечами имеет почти десять лет лагеря, хотя в настоящее время и полностью реабилитирована. Но директор, большой патриот, бдительно стоящий на страже государственных интересов, был бескомпромиссен. Поэтому это маленькое «хотя» было для него совершенно недостаточным, и он предложил маме незамедлительно выйти па пенсию.

Валечка умерла в 1969 году в день победы - 9 мая. Умирала тяжело, невыносимо страдая от рака пищевода, и мама, специально приехав в Москву для ухода за умирающей сестрой, в течение трех месяцев не отходила от ее постели.

Согласно последней воле Валечки, на могильной плите рядом с ее фотографией и надписью помещена фотография Юлия Густавовича и тоже надпись с датами рождения и «второй» смерти. Ну что ж, пусть хоть так, но он все же обрел свою могилу, и теперь есть куда положить поминальный цветок.

Нет уже среди живых и детей Валечки - Гаврик и Леночка скончались в начале девяностых с интервалом в полгода, и сегодня все четверо Грюнбергов лежат вместе под одной могильной плитой. Так что я сегодня остаюсь самым старшим из нашей династии, что, конечно, почетно, но почет этот с намеком...

Многие из маминых алжирских подруг ушли из жизни, да почти все. Настенька умерла, пережив Валечку на пять месяцев. Незадолго до этого она приехала в гости к нам, и это была единственная и последняя встреча подруг за все почти двадцать лет после Алжира.

Позднее других не стало Марии Игнаткиной. Мне удалось встретиться с ней в 1990 году, когда я впервые через полвека посетил родную Читку. К моему великому счастью и совершенно не надеясь на это, я встретил там и моего друга юности Юру Игнаткина, многого достигшего в жизни за это время. Я перезнакомился со всем его нисходящим потомством, дважды побывал у них в гостях, и до сего времени поддерживаю связь с Юрой письмами, иногда по телефону.

Заканчивая эту скорбную повесть, я хочу еще раз вернуться к главной ее героине, к последним дням жизни моей матушки, передавшей мне почетную эстафету фамильного старшинства. Хотя жизнь и не щадила ее, время было к ней все же милосердно: прожить сегодня 95 лет - явление почти уникальное. В последние годы жизни мама была уже старчески слаба, почти полностью ослепла, плохо слышала. Но память ее была ясна и цепко держала в себе события тех далеких лет. О многих из них я рассказал здесь с ее слов.

Она часто говорила, что устала жить, и этому следовало верить - было от чего устать. Она часто говорила, что уже ничего не ждет от жизни, но здесь я не мог с ней соглашаться, ибо знал об одной ее мечте, связанной с памятью о ее дорогом Лёсе. Наверное, не без влияния моих расспросов в период работы над этой книгой, она чаще, чем прежде видела Лёсю во сне, таким, каким он был в свой последний тридцать девятый год жизни.

Для нее он не мог быть старше. И когда она рассказывала мне по утрам, что Лёся снова звал ее к себе, я улавливал в ее голосе чувство вины за то, что она так долго задержалась на этом свете и что за всё это время не смогла побывать на его могиле, побыть с ним наедине...

Но где она, эта могила? Как найти ее, как дойти до нее? Никто не знает.

Правда, говорят, что расстрелянных в застенках Читинского НКВД вывозили в Сухую Падь, недалеко за городом, и там закапывали в ямы. Говорят, что в спешке напряженного потока не всегда сразу забрасывали землей, оставляя на время ямы открытыми до следующей партии, и кое-кто из местных вроде видел это, помалкивая до поры-до времени... Еще говорят, что когда несколько лет назад в этой Сухой Пади велись земляные работы, то строители время от времени находили полусгнившие кости, истлевшие остатки железнодорожной формы и проржавевшие металлические знаки отличия железнодорожников тех лет - звездочки, гайки, перекрещенные ключи. Наверное, это все же легенда, рожденная не столько фактами, сколько мучительным желанием хоть что-то знать о земных останках дорогих и близких людей, канувших в неизвестность...

И до самого смертного часа мама мечтала - ведь так уже немало сделано для правды о том страшном времени, ну что стоит довести это святое дело до конца и всенародно увековечить добрые имена и светлую память миллионов безвинно погибших, воздвигнуть им повсеместно памятники, как символические могилы, как знаки скорби, как зримое назидание живущим и потомкам об уроке истории, о чем никому и никогда нельзя забывать, чтобы это никогда и нигде не могло повториться

Оглянись со скорбью, человек, и помни!

...И мама мечтала - если такой памятник будет воздвигнут в Чите, она непременно дойдет до него, если надо - доползет. Успеть бы только... Не успела.